



Часть восьмая ЗАКАТ В ПАРАДИЗЕ

Выведа измену и твердо обеспечив, как ему казалось, свое дело от любых посягательств, Петр с уверенностью смотрел в будущее. 1718 год, разрешивший долгую тяжбу отца с сыном, подал надежду и на окончание непомерно затянувшейся войны со Швецией. Случилось невероятное: заклятый враг царя король Карл вдруг пожелал стать его другом и союзником!

Виновником этой внезапной перемены в настроении короля был его ближайший советник барон Георг Генрих Герц. В этом высоком, красивом, несмотря на искусственный эмалированный глаз (вставленный взамен потерянного на дуэли), обаятельном, блестящем авантюристе с широкими замыслами Карл как бы обрел второго себя. Герц был одним из тех полуразорившихся дворян, которые брались устраивать государственные и семейные дела любого государя, соблаговолившего обратить на них внимание, — подобными дипломатами тогда кишмя кишела Европа. Родившись в Южной Германии и получив образование в Иенском университете, Герц осел при дворе молодого герцога Голштинского, товарища Карла по юношеским сумасбродствам и женатого на его сестре Ядвиге Софии. Предприимчивый барон быстро прибрал к рукам гуляку-герцога и, после гибели последнего в 1702 году под знаменами Карла в битве под Клишовом, получил звание регента при малолетнем наследнике Голштинского герцогства Карле Фридрихе. Долгие годы главной его заботой было обеспечить независимость Гол-



штинии от посягательств Дании. С этой целью в 1713 году он даже думал сблизиться с Россией путем брака двенадцатилетнего наследника Голштинского герцогства с одной из дочерей Петра. Но царь тогда не увидел в этой затее ничего привлекательного для себя.

Честолюбивого Герца удручал тесный голштинский мирок, он стремился играть роль в европейской политике. Он искренне восхищался Карлом — с таким повелителем он мог бы свернуть горы! Но Карл был далеко — колесил по Европе, а потом и вовсе забрался в Турцию. Только в 1714 году, в Штральзунде, Герцу удалось увидеть его. Всего одна беседа потребовалась ему, чтобы выйти из кабинета короля его неофициальным советником. А вскоре Карл уже всецело полагался на него, передоверив ему и управление Швецией, и дипломатию. Король желал только воевать, а Герц умел добывать солдат и деньги. Он вводил новые поборы и частым гребнем вычесывал из шведских деревень последних здоровых мужчин. Ненавидимый шведами, барон сделался необходимейшей персоной для их короля, фактически став первым министром Карла.

Основой внешней политики Герца стал его давний замысел — союз с Россией. Он убедил Карла, что Швеция не может и дальше воевать сразу со всеми; к тому же, как голштинский регент, Герц ненавидел Данию. Шведский король к тому времени сделался чрезвычайно восприимчивым к доводам своего министра. Дело в том, что ганноверский курфюрст, взошедший на английский престол под именем Георга I, примкнул к антишведскому союзу и получил за это от Дании вознаграждение — бывшие шведские владения Бремен и Верден. Этого было достаточно для того, чтобы Карл отвел Георгу место в аду рядом с вероломным Августом.

Царь, со своей стороны, склонен был прислушаться к предложениям Герца. Если раньше он смеялся над широкоохватными замыслами барона: «Голштинский двор напоминает мне ялик с мачтой от военного корабля — малейший боковой ветер опрокинет его», — то теперь, когда Герц сделался ближайшим доверенным лицом Карла, Петр начал относиться к его словам с большим вниманием. Тем временем царь рассорился со всеми своими бывшими союзниками. Прежде всего царем был недоволен Август, обидевшийся на то, что Петр не уступил ему обещанную Ригу. Петр в ответ поддержал конфедерацию польских



панов, требовавших вывода саксонских войск из Польши. А династический союз России с герцогством Мекленбургским испугал Данию и северогерманские княжества — в первую очередь Ганновер. Георг, чрезвычайно встревожившийся за свои ганноверские владения, в качестве английского короля принялся хлопотать о коалиции, имевшей целью не допустить укрепления России на Балтике. Дания поддержала его усилия.

Таким образом враги Карла — Август, Фредерик и Георг — сделались также врагами Петра. Герц посчитал, что это хорошая основа для союза, и не ошибся. В мае 1718 года на одном из Аландских островов — острове Лофо — начались русско-шведские переговоры. Дипломаты обеих стран разместились в двух домиках, выстроенных неподалеку один от другого. Судьбы России и Швеции вершили два немца: Герц и советник царя по иностранным делам Андрей Остерман. Оба противника были равны друг другу по силе ума и изворотливости, но Герц с самого начала находился в менее выгодном положении. Если Остерман, имея четкие указания царя — мир и союз в обмен на возвращение Финляндии, — играл в открытую, то Герцу приходилось хитрить как с русскими, так и со своим повелителем. Начиная переговоры, барон не ознакомил Карла с русскими требованиями, ибо достаточно хорошо понял характер короля. Он полагал, что главное — начать, а там уж так или иначе он сумеет привести дело к благополучному окончанию. Равным образом на острове Лофо Герц скрыл от Остермана данную ему королем инструкцию, так как ее оглашение сразу же прервало бы переговоры: Карл требовал ни много ни мало как вернуть ему все захваченные царем земли и выплатить компенсацию за то, что Россия начала «несправедливую войну».

Итак, успех Герца зависел от того, насколько долго ему удастся водить за нос Остермана. Дебют, по крайней мере, был разыгран им блестяще. Герцу удалось убедить Остермана в том, что Швеция ведет одновременно серьезные переговоры с Англией. Остерман предложил компромисс: Россия возвращает Финляндию и Ливонию, сохранив за собой лишь Ингрию, Карелию и Эстляндию. Но дальнейшие переговоры споткнулись о ревелский порт — ни одна сторона не хотела уступить его, так как потеря Ревеля делала обладание ливонскими и эстляндскими землями бессмысленным.



Когда в июне Герц собрался съездить к Карлу для консультаций, Остерман намекнул, что если ему удастся убедить короля принять русские предложения, то царская благодарность примет обличье такой роскошной соболиной шубы, какой и свет не видывал, а в ее карманах барон найдет сто тысяч талеров.

С шубой, однако, не выгорело — Карл русские условия отклонил. Но и Герц, вернувшись на остров Лофо, изложил Остерману не мнение Карла, а свое собственное: Швеция уступает России Ингрию и Ливонию, а о Карелии и Эстляндии они договорятся позже; за это царь помогает королю отобрать у Дании Норвегию, а у Ганновера — Бремен и Верден. Петр ответил, что готов предоставить в распоряжение своего брата Карла 20-тысячный корпус и восемь военных кораблей, с условием, что в предстоящей кампании король не станет подвергать себя опасности, так как успех войны целиком зависит от сохранности его персоны.

Окрыленный Герц полетел в Лунд, но Карл одним словом разрушил все его хитроумные комбинации. Все, к чему Герцу удалось склонить Карла, — это уступить царю Ингрию и Карелию. Уезжая вновь на Аландские острова, барон удрученно заметил: «Моя задача заключается в том, чтобы одурачить русских, если они позволяют сделать это».

При возвращении на остров Лофо он услышал, что и царь передумал: теперь Петр не хотел ничего уступать, кроме Финляндии, и особенно воевать против Дании, — только против Ганновера. Оберегая свой нос от дальнейших покушений, Остерман предупредил Герца, что если в декабре они не заключат соглашения, то переговоры будут прерваны.

Герц опять поехал в Швецию.

Петр в письмах Остерману живо интересовался о шведском короле, которого не видел ни разу в жизни. Остерман передавал в ответ то, что слышал от Герца, — что хотя король совершенно облысел, сохранив только за ушами жидкие седые волосы, но не утратил ни воинственного пыла, ни привычки к суровой жизни: встает в час ночи и до рассвета носится верхом по освещенным луной равнинам; питается черным хлебом и пшенной кашей, пьет одну воду. В одном письме Остерман предупреждал царя, что на переговорах не учитывается вероятность того, что некому будет подписывать мирный договор, так как шведский король



«по своей безрассудной храбрости рано или поздно будет убит или свернет себе шею на галопе».

Между тем Карл серьезно готовился к «сорока годам войны», чтобы вернуть Швеции утерянные земли. Короля не волновало, что в обезлюдевших деревнях пустовали дома, необработанные за неимением рабочих рук поля зарастали травой, в горных шахтах не было более слышно стука молотка, в плавильных печах не зажигался более огонь, пусты были рынки и амбары, пусты гавани, где вместо высокобортных кораблей из Англии и Голландии лежали убогие лодки местных рыбаков... Не опасаясь больше русского десанта у себя в тылу, Карл сосредоточивал силы против принадлежавшей Дании Норвегии, которая была нужна ему в качестве плацдарма для дальнейших операций против Англии.

В декабре 1718 года шведские войска осадили пограничную норвежскую крепость Фридрихсгалл. Окоченевшие от холода шведы принялись рыть в мерзлой земле траншеи, охватывая ими город.

11 декабря, поздно вечером, Карл в сопровождении нескольких офицеров вышел посмотреть, как идут осадные работы. При свете луны, озарявшем серебристо-синеватым блеском окрестные снега, шведы вели с осажденными вялую перестрелку. Карл поднялся по вырытым в земле ступеням наверх траншеи и оперся грудью на бруствер, подперев ладонью подбородок. Сопровождавшие умоляли его спуститься, но он отвечал приказанием оставить его в покое. Так прошло несколько минут. Офицеры вполголоса переговаривались; их лица находились почти на уровне королевских ботфорт, стоявших на земляной ступеньке. Внезапно наверху раздался короткий хлюпающий звук, на который поначалу никто не обратил внимания. Король продолжал стоять в той же позе. Королевская свита встревожилась только тогда, когда Карл не откликнулся на очередной призыв спуститься вниз. Офицеры потянули за ноги податливое тело — и король рухнул на них. Из зияющей дыры на его левом виске хлестала кровь, правый глаз выпал из глазницы от удара картечной пули...

На шведский престол взошла сестра Карла, Ульрика Элеонора. Герц был немедленно арестован и казнен.

Известие о смерти Карла ошеломило Петра. За восемнадцать лет он привык чувствовать незримое присутствие этого



невидимого спутника своей жизни, соотносить с ним свои планы и замыслы. На глаза царя навернулись невольные слезы. Он вытер их со вздохом: «Ах, брат Карл! Как мне тебя жаль!» При русском дворе был объявлен недельный траур.

Переговоры на Аландских островах прервались.

Мир ускользал от Петра на государственном поприще; никак не мог царь обрести его и в семье. После смерти Алексея Екатерина старательно отводила мужнин взор, отуманенный кровью, на умилительную картинку семейного счастья; писала Петру: «Прошу, батюшка мой, обороны от Пиотрушки (сына, Петра Петровича. — С. Ц.), понеже немалую имеет он со мною за вас ссору, а именно за то, что когда я про вас помяну ему, что папа уехал, то не любит той речи, что уехал; но более любит то и радуется, как молвишь, что здесь папа».

Папа, бывший в это время в Ревеле, послал маме и Петруше пучок своих остриженных волос. Екатерина благодарила и сообщала, что «оный дорогой наш шишечка часто своего дражайшего папу упоминает... и непрестанно веселится мунштгированием солдат и пушечною стрельбою...». Этих забав не любил Алексей, и Екатерина неспроста упоминала про них.

Эту идиллическую картинку безжалостной рукой смазала смерть. В апреле 1719 года наследник внезапно заболел и умер в возрасте трех с половиной лет. Петр был потрясен, в отчаянии бился головой о стену и на трое суток заперся в своей спальне. Все это время он неподвижно лежал на кровати, ничего не ел и не разговаривал с приближенными, которые через дверь пытались окликать его. Хотя Екатерина и сама была вне себя от горя, отчаяние мужа испугало ее. Она стучала в дверь спальни, звала его — все тщетно. В конце концов вызволить царя из добровольного заточения взялся сенатор князь Яков Долгорукий. Приведя под дверь царской спальни Сенат в полном составе, он постучался; за дверью продолжала царить недобрая тишина. Тогда Долгорукий, возвысив голос, сказал, что пришел с Сенатом, и если государь тотчас не отопрет дверь, то они выломают ее.

За дверью послышалось движение, ключ в замке повернулся, и в дверном проеме показался бледный Петр.

— В чем дело? Зачем вы тревожите меня?

— Затем, — смело отвечив Долгорукий, — что из-за твоей безмерной и бесполезной скорби по всей стране растет нестроение.

Петр со вздохом повесил голову.



— Ты прав...

Он вышел из комнаты, подошел к заплаканной жене и мягко обнял ее.

— Мы горевали слишком долго. Не будем больше роптать против воли Божьей.

Подбежавшие дочери — Анна и Елизавета — со слезами обняли отца.

Войне на Балтике не было видно конца. Но теперь вместо старого, непримиримого, хотя в общем-то уже бессильного врага — Швеции у России появился новый противник — ганноверский курфюрст и английский король Георг I. Этот пожилой король-тышка (в 1714 году, в момент вступления на английский престол, ему было пятьдесят четыре года) с очень белой кожей и голубыми глазами навывкате получил корону Великобритании в силу своего дальнего родства с английским королевским домом — его мать приходилась внучкой Якову I Стюарту. Бюргер по своим вкусам и солдафон по своим привычкам, которые он приобрел, командуя ганноверскими войсками в войне за испанское наследство, Георг предпочитал своим новым подданным, испорченным Конституцией и парламентскими дебатами, добрых дисциплинированных немцев. Свой новый титул и огромные ресурсы Британской империи он использовал для сохранения и расширения своих ганноверских владений.

Пока Бремен и Верден находились в руках у шведов, Георг помогал Петру, — правда, только в качестве курфюрста Ганноверского. Русский посол в Копенгагене князь Василий Долгорукий так разяснял царю эту сложную ситуацию: «Хоть английский король и объявил войну шведам, но только как курфюрст Ганноверский, а английский флот вышел в Балтийское море, только чтобы защищать своих купцов. Если шведский флот атакует российский флот вашего величества, не следует думать, что англичане вступят в борьбу со шведами».

Действительно, с 1714-го по 1718 год адмирал Норрис ежегодно входил с английской эскадрой в Балтийское море и пассивно курсировал вдоль берегов Швеции.

Все эти годы Георг боялся, что Карл поддержит яacobитское вторжение в Англию, которое деятельно готовилось привержен-



цами Стюартов на континенте. Но с гибелью Карла эти страхи отпали, а Бремен и Верден уже находились в руках Георга. Теперь главную угрозу Ганноверу Георг усматривал в растущей военной мощи России. У него возник план общебалтийского союза, направленного против царя. И прежде всего Георг стремился не дать России окончательно добить Швецию; последней, по его плану, нужно было оставить достаточно сил, чтобы противостоять царю. За помощь в войне с Россией Швеция должна была уступить союзникам все свои германские владения, зато ей обещали помочь вернуть все, что отнял у шведской короны Петр, за исключением Петербурга, Нарвы и Кронштадта.

К сколачиваемому Георгом антирусскому союзу присоединились Август и Фредерик. Дольше других ломался прусский король Фридрих Вильгельм, который чувствовал себя весьма неловко, ведь он объявлял себя другом Петра. Однако, соблазненный Штеттином, он дал свое согласие на войну против России. Для успокоения совести он сам известил царя о своем решении и написал обращение к потомкам, каюсь в своем вероломстве и заклиная их не идти по его стопам и не предавать друзей ради сиюминутных политических выгод.

Новую расстановку сил на Балтике должна была обеспечить все та же эскадра адмирала Норриса, которому было приказано поменять местами исторических друзей и врагов Англии. В июле 1719 года Норрис бросил якорь неподалеку от Стокгольма. Королева Ульрика Элеонора объявила, что принимает предложения Георга. Петр в ответ изгнал английского резидента из парадиза.

Напугать царя не удалось. Петру не впервой было добиваться мира с оружием в руках. Главный удар он по-прежнему нацеливал против Швеции как наиболее важного и вместе с тем самого слабого члена направленной против него коалиции. В мае 1719 года из Петербурга и Ревеля к берегам Швеции отплыл 30-тысячный галерный десант под командованием адмирала Апраксина и вице-адмирала Петра Алексеева.

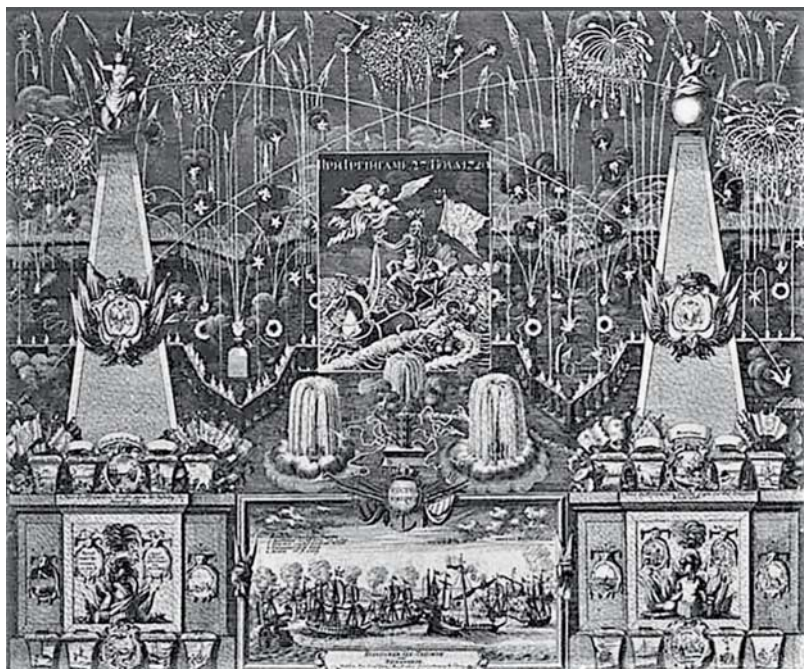
4 июня семь русских линейных кораблей настигли три шведских фрегата и после восьмичасового боя захватили их. Петра распирало от гордости: это не абордаж, как при Гангуте, — настоящая морская победа!

Спустя две недели русская эскадра достигла Аландских островов. Туман и штиль заставили линейные корабли стать на якорь, но галеры Апраксина двинулись дальше. В течение



пяти недель русский десант опустошал восточное побережье Швеции, разорив восемь городов и свыше тысячи сел и деревень. После гибели короля боевой дух шведской армии заметно упал: теперь уже русским случалось обращать в бегство вдвое превосходящие силы врага. Высаженный с галер специальный казачий корпус совершил даже набег на Стокгольм, но был отбит его гарнизоном.

В середине августа Апраксин повернул назад, подбирая по пути высаженные на берег отряды, и к концу августа отплыл домой, отягощенный добычей.



*Фейерверк в честь победы русского флота при Гренгаме.
Гравюра неизвестного художника, 1720 год*

Осенью Петр направил в Стокгольм Остермана проведать, как запомнился шведам летний урок. Однако вид гарцующих казаков под стенами столицы только озлобил шведов. Ульрика Элеонора и Сенат были согласны говорить о мире только после возвращения Швеции Финляндии и Ливонии.

Весной 1720 года грозные эскадры британского флота стали одна за другой входить в воды Балтики для устрашения царя.



Ульрика Элеонора отреклась от престола в пользу своего мужа Фридриха, принца Гессен-Кассельского, решительного сторонника войны. В мае Норрис привел в воды Балтики самую мощную эскадру — 31 военный корабль. Русскому посланнику в Лондоне Веселовскому было заявлено, что от русских самих зависит, принять ли английского адмирала как друга или как врага.

Норрис направился в Ботнический залив, чтобы помешать новому опустошению шведских берегов, но скоро обнаружил, что его судам грозит участь шведского флота — подводные камни, мели, туманы и переменчивые ветры делали русские галеры неуязвимыми для английской эскадры. Поэтому адмирал повернул к Ревелю, где базировался русский флот. Однако, подойдя к порту, он счел, что линия береговых бастионов слишком прочна, и отвел свои корабли к побережью Швеции.

Тем временем в тылу у Норриса галеры Апраксина вновь подобрались к шведским берегам и высадили десант. Над городами, хуторами, поселками и заводами опять поднялись столбы черного дыма. Завидев корабли Норриса, русские галеры прижались к берегу и ускользнули от неприятной встречи. Норрис благоразумно не стал преследовать их (возможно, он не особенно усердствовал, памятуя царское гостеприимство на копенгагенском рейде). Зато шведская эскадра из восьми кораблей, погнавшаяся за галерами, села на мель около острова Гренгам и была захвачена Апраксиным. Петр смеялся: славно, куда как славно господа англичане шведов оборонили — как их землю, так и флот!

Георг бессильно злобствовал. Более глупого положения нельзя себе представить — лучшие морские силы Англии вышли в море, а какие-то допотопные галеры на их глазах терзают союзника! В парламенте росла оппозиция королю. Первый министр Роберт Уолпол полагал, что войн надо по возможности избегать, а торговлю развивать. Англичане благожелательно взирали на Петра, который, несмотря на враждебные маневры эскадры Норриса, не притеснял английских купцов в России и позволял английским торговым кораблям свободно плавать по Балтийскому морю. В конце концов, какое дело Джону Буллю до Ганновера! Да и дорого каждый год кататься во всеоружии по Балтике.

Еще быстрее Георга сообразил, что надо идти на мировую, шведский король Фридрих. Вынужденное миролюбие короля подстегнуло известие, что наследник голштинского престола



Карл Фридрих, памятуя наставления покойного Герца, приехал в Петербург, обласкан царем и просит руки одной из царевен. А ведь Карл Фридрих, как двоюродный племянник Карла XII, имел веские права на шведский престол! Фридрих Шведский понял, что только мир может обеспечить ему спокойствие на троне.

28 апреля 1721 года в финском городке Ништадте начались мирные переговоры. Россию вновь представлял Остерман, успевший к тому времени сделаться бароном. Стороны сразу удивили друг друга: шведы русских тем, что рассчитывали на более легкие условия, чем те, которые выдвигались царем на Аландском конгрессе; русские шведов — тем, что требовали навечно Ливонию, хотя ранее соглашались на ее сорокалетнюю оккупацию. На этот раз Петр не шел ни на какие уступки. «Я знаю свой интерес, — говорил он французскому посланнику Кампредону, пытавшемуся выступить посредником в переговорах. — Оставить шведов в Ливонии — значит пригреть змею на груди».

Переговоры застопорились. Летом к берегам Швеции поплыл новый русский десант.

Петр был уверен, что теперь мир не за горами, и больше всего беспокоился о том, чтобы никто в парадизе не узнал о мирном договоре прежде него, ибо считал, что честь объявить весть о мире принадлежит ему по праву. Остерману он повелевал: «Сие известие мне первому привезть в Петербург, понеже не чаю, кто б более моего в сей войне трудился, и для того сему никому являться не велите, кроме меня. Також, чтоб и партикулярных писем с конгресса о том никуда ни от кого не было от наших людей».

А пока он развлекался. 10 сентября устроил в столице маскарад на венецианский лад с участием князя-папы Бутурлина и всего всешутейшего собора. Большое удовольствие доставила ему переправа процессии через Неву — в Почтовый дом, где всех ждало угощение. На берегу реки князя-папу и кардиналов ожидал плот — необычное сооружение, состоящее из двенадцати пустых, хорошо закупоренных бочек, связанных парами. На бочках были закреплены ушаты, в которых расселись кардиналы. Впереди них на таких же бочках был установлен огромный котел, доверху наполненный пивом, а в нем, в деревянной чаше, плавал князь-папа. На краю котла сидел Бахус



и, пока шла переправа, беспрестанно черпал пиво и вливал себе в глотку. Рядом на лодке, сделанной в виде морского чудовища, ехал Нептун, который время от времени трезубцем поворачивал в котле чашу с князем-папой. Когда же Бутурлин, наконец, причалил к берегу, по приказу царя к нему подошли маски, словно желая помочь старику сойти на землю, — и вместо этого с головой окунули его в пиво при общем хохоте и яростных ругательствах сопротивляющегося князя-папы.

На пиру развлекались тем, что щекотали молодого князя Трубецкого, — тот ревел, как теленок, которого режут, а старому князю Головину, чрезвычайно любящему сладкое желе, напихали его в рот целый поднос зараз.

14 сентября Петр уехал в Выборг осмотреть пограничные территории, которых требовали шведы. Здесь его и застал курьер с заветным письмом от Остермана. Летний урок оказался для шведов достаточен. Русский десант высадился в ста милях от Стокгольма, сжег три города, девятнадцать приходов и пятьдесят деревень. Это стало последней каплей — шведы согласились на все условия. Россия оставляла за собой навечно Ливонию, Эстляндию, Ингрию и Карелию — до Выборга; остальные захваченные земли возвращала Швеции. Стороны обязались отпустить всех пленных.

К письму Остермана был приложен пакет с экземпляром мирного договора, о котором барон писал: «Мы оной перевесть не успели, понеже на то время потребно б было, и мы опасались, дабы между тем ведомость о заключении мира не пронеслась». Петру стоило больших усилий тотчас же не поделиться новостью с окружающими. Уединившись, он прочитал текст трактата и, довольный, сделал на полях помету: «Все ученики науки в семь лет оканчивают обыкновенно; но наша школа троекратное время была, однакож, слава Богу, так хорошо окончена, как лучше быть невозможно».

На следующее утро царская яхта влетела в Неву, паля изо всех пушек; на палубе грохотали барабаны и гремели трубы. На причале у Троицкой площади мигом собралась толпа, стали подъезжать государственные чины. Царь ступил на землю и в промежутке между залпами возвестил о причине радости — в ответ раздались приветственные крики, поздравления, шапки полетели в воздух... Сопровождаемый толпой, Петр направился к Троицкой церкви помолиться. После службы Апраксин



и прочие генералы попросили государя принять чин полного адмирала. Петр счастливо улыбнулся. Лучшая награда!

Весь день при звуках труб и литавр трубачи и драгуны в белых шарфах через плечо, державшие в руках перевитые лавровыми ветвями древки знамен с белыми полотнищами, разъезжали по улицам Петербурга, объявляя о заключении мира. Посреди запруженных народом улиц выкатывали бочки с вином и пивом. Петр взошел на помост, наскоро сколоченный на Троицкой площади, и прокричал в неистовствующую от восторга толпу:

— Здравствуйте и благодарите Бога, православные, что толикую долговременную войну всесильный Бог прекратил и даровал нам со Швецией счастливый вечный мир! Сия радость превышает всякую радость для меня на земле!

С этими словами он поднял кубок с вином — за здоровье российского народа. Ему ответил громовой крик: «Да здравствует государь!» Шеренги солдат, выстроившиеся вокруг помоста, палили из мушкетов в воздух, орудия Петропавловской крепости производили оглушительные залпы.

Две недели ушло на подготовку невиданных торжеств, которые начались в октябре и продолжались целый месяц. Они открылись придворным маскарадом. Забыв о годах и недугах, Петр веселился от души, плясал на столах и горланил песни. Правда, порой, посреди веселья, он сникал, устало поднимался из-за стола и шел вздремнуть на яхту; возвратившись через пару часов, он с удовольствием обнаруживал, что вино льется рекой и шум стоит ужасный, и вновь присоединялся к пирующим. Целую неделю придворные не снимали масок и карнавальных нарядов — гуляли, ели, пили, танцевали, валились замертво от вина и усталости и, проснувшись, принимались за все сначала.

Как обычно, царь не удержался от непристойного фарса, грубо вторгшегося в торжества, — женитьбы князя-папы Бутурлина на вдове Зотова. После грандиозной попойки, во время которой гостей опаивали из сосудов, имевших форму мужского срама, молодых уложили спать в воздвигнутой перед Сенатом пирамиде; пьяная толпа через особые отверстия в стенах пирамиды могла любоваться зрелищем брачной ночи.

31 октября Петр явился в Сенат и объявил, что в благодарность за Божию милость, даровавшую России победу, он прощает всех преступников, сидящих в тюрьмах, кроме убийц, и слагает с подданных недоимки, накопившиеся за восемнад-



цать лет. На другой день Сенат, Синод и генералитет собрались в Троицком соборе. Петр руководил богослужением, пел со священниками и отбивал такт ногой. После обедни зачитали статьи мирного договора. Затем Феофан Прокопович в пышной речи восславил дела царя, «едиными неусыпными трудами и руководством» которого «мы, ваши верные подданные, из тьмы неведения на феатр славы всего света и, тако рещи, из небытия в бытие произведены и в общество политических народов присовокуплены», а канцлер Головкин от имени Сената, Синода и генералитета дерзнул просить государя о принятии им титулов Отца Отечества, Великого и Императора Всероссийского, — «как обыкновенно у римского Сената за знатные дела императоров их такие титулы публично им в дар приношены». Петр кивком подтвердил, что соблаговоляет принять титулы.

— Виват, виват, виват Петр Великий, Отец Отечества, Император Всероссийский! — провозгласил Головкин. Этот крик подхватили министры и генералы в соборе, а следом за ними войска и народ на площади, раздался звон колоколов, загрели трубы и барабаны, крепость салютовала пушечными выстрелами.

Быйдя из собора, царь возглавил шествие к Сенату, где в большой зале были накрыты столы на тысячу человек. Тут его поздравили голштинский герцог и иностранные послы. Обед прошел под знаком воспоминаний о понесенных трудах и свершениях. Петр говорил:

— Зело желаю, чтобы весь наш народ прямо узнал, что Господь прошедшей войною и заключением мира нам сделал. Надлежит Бога всею крепостью благодарить, однако, надеясь на мир, не ослабевать в воинском деле, дабы с нами не так стало, как с монархией греческой. Надлежит трудиться о пользе и прибытке общем, который нам Бог кладет пред очами, как внутри страны, так и вовне, отчего народ облегчен будет...

За банкетом последовал бал, а ночью вспыхнул фейерверк, изображавший храм Януса, из которого появился сам двуликий бог с лавровым венком и масличной ветвью. Петропавловская крепость прогремела тысячей выстрелов, так что, казалось, «небо обрушилось на землю», суда на Неве засверкали потешными огнями. Под конец, в три часа ночи, в зале пустили по кругу огромную лохань с токайским, которую несли на плечах два гренадера, — «истинную чашу страданий», как выразился один иностранный дипломат. На улице все это время били фонтаны



с белым и красным вином, на гигантских кострах жарились целые быки. Перед тем как отправиться спать, Петр вышел к петербуржцам и поднял чашу за здоровье российского народа.

Едва отгремел над Петербургом и Москвой салют по случаю Ништадтского мира, едва царь сбросил со своих плеч бремя одной войны, как уже начинал другую — с Персией. И не то чтобы Петр особенно хотел воевать шаха, а просто случай подвернулся — надо было ковать железо, пока горячо.

Впрочем, Восток манил его давно. Петр много слышал о богатой Поднебесной империи, о несметных сокровищах Великого Могола⁵⁵, о процветающих караванных путях, тянувшихся из Китая и Индии через Персию на Запад. Об этом рассказывали ему в юности бывалые люди из Кукуя, многое почерпнул он из бесед с амстердамским бургомистром Витзенем, большим знатоком географии Востока; об этом писали ему его посланники в Англии и Голландии, — какие великие прибыли получают эти народы от торговли с восточными странами. Наконец, сибирский губернатор князь Матвей Петрович Гагарин называл ему точный адрес, где промышляют «песошное золото», — калмыцкий город Еркет на реке Дарье. И покуда шла война со шведом, покуда была великая нужда в деньгах, Петр то и дело оглядывался на восточные степи, откуда ему призывно мерцали груды золотого песка. И ведь что обидно: Россия — не Англия, не Голландия, от нее ж до этого втуне пропадающего богатства — рукой подать!

Петр пытался утвердиться в Китае, учредив в Пекине русскую миссию и расширив торговлю чаем, мехами и шелком. Но китайцы выказали настороженность и высокомерие. В 1719 году капитан Преображенского полка Лев Измайлов, назначенный чрезвычайным посланником в Пекине, повез в дар богдыхану четыре подзорных трубы из слоновой кости, собственноручно изготовленные Петром. Богдыхан за подарок благодарил, но на предложение снять торговые ограничения с русских купцов отвечал, что, мол, вы, русские, купечество

⁵⁵ Имеется в виду основанная в Индии выходцем из Средней Азии Бабуrom империя Великих Моголов (1526–1858).



свое высоко ставите, а мы купеческими делами пренебрегаем, у нас ими занимаются самые убогие люди и слуги и пользы нам от вашей торговли никакой нет. Впрочем, миролюбие свое подтвердил: «Россия — государство холодное и далекое, и если б я послал туда свои войска, то все они померзли бы. А наша страна жаркая, и если императорское величество пошлет сюда войска — помрут от жары. И хотя бы чем-нибудь мы завладели, то какая в том прибыль? В обоих государствах земли множество».

Посылал царь корабли к Мадагаскару, передать братские приветствия «прославленному королю и владельцу острова Мадагаскар». Владелец этот славен был главным образом тем, что время от времени приказывал истреблять европейских купцов. Но настоящей целью этой экспедиции был не Мадагаскар, а Индия. Петр мечтал о торговом соглашении с Великим Моголом, в частности, для того чтобы ему в парадиз доставляли тиковую древесину — для совершенствования в токарном искусстве. Однако эта экспедиция потерпела неудачу в самом начале: у одного из двух фрегатов, отплывших из Ревеля, открылась течь, и корабли вернулись назад.

Одновременно Петр искал сухопутную дорогу в Индию. Средняя Азия постоянно бурлила из-за непрекращающейся вражды ханов Хивы и Бухары, которые то и дело обращались за поддержкой к белому царю. Бухарский хан, помимо прочего, просил прислать ему пленных шведских женщин, чтобы получить от них воинственное потомство; несмотря на отказ Петра, бухарский посол все-таки ухитрился увезти двух шведок. Интерес царя к делам обоих ханств подогревался слухами о золотоносных жилах на побережье Каспия и о золотом песке в среднеазиатских пустынях.

В 1716 году Петр попытался закрепиться на Каспии. Поход возглавил князь Александр Бекович-Черкасский (отец его, кабардинский князь, попросился в русское подданство, чтобы спасти дочь от посягательств шаха, который хотел забрать ее в свой гарем; Александр Бекович крестился и дослужился до капитана гвардии — кому ж еще, как не ему, вести войско в такой поход!). Летом из Астрахани на юг выступил четырехтысячный отряд. Пройдя триста верст по безводной пустыне, Бекович неподалеку от Хивы вступил в сражение с войсками хана. Бой продолжался три дня; русские победили, хан подтвердил на Коране нерушимость продиктованного Бековичем мирного договора.



Затем хан пригласил Бековича в Хиву и предложил разместить русское войско в пяти городах, чтобы легче было прокормить его. Бекович легкомысленно согласился. Вскоре ханское войско поочередно принудило русские отряды к сдаче. Офицеров убили, солдат продали в рабство. Бековича привели в ханский шатер. Гордый князь отказался встать на колени перед ханом, и ханские слуги перерезали ему сухожилия под коленками, а затем отрубили голову. С обезглавленного трупа Бековича содрали кожу и, набив ее соломой, выставили во дворе ханского дворца. Четыре года спустя ханский посол приехал в Астрахань с предложением восстановить любовь и дружбу, но его посадили в тюрьму, где он и умер.

Неудача хивинского похода побудила Петра попытать счастья в Персии. Он хотел убедить шаха Гуссейна изменить маршруты движения торговых караванов, перенеся их с Великого шелкового пути на Север — через Кавказ к Астрахани и далее по русским рекам к Петербургу. Договариваться с шахом был послан Артемий Петрович Волынский, молодой дворянин, успевший и в драгунах послужить, и под началом Шафирова принять участие в переговорах с Турцией. Попутно Волынский должен был разведать истинное могущество Персии и выяснить, «нет ли какой реки из Индии, которая бы впадала в Каспийское море».

Приехав в 1717 году в Исфахан, Волынский угодил под домашний арест — шах прослышал о походе Бековича и заподозрил русского посланника в шпионских намерениях. Впрочем, и сидя под арестом, Волынский сумел составить о шахе вполне определенное мнение: «Здесь такая ныне глава, что он не над подданными, но у своих подданных подданный, и чаю, редко такого дурачка можно сыскать и между простых людей... того ради сам ни в какие дела вступать не изволит, но во всем положился на наместника, Ехтма-Девлета, который всякого скота глупее, однако у него такой фаворит, что шах у него изо рта смотрит и то делает, что тот велит...» Вывод из наблюдений Волынского был тот, что царь может безо всякого риска пощипать каспийские владения Персии.

Вернувшись в Россию, Волынский получил чин генерал-адмирала и был назначен астраханским губернатором. С этих пор он постоянно напоминал Петру о возможности действовать на Кавказе оружием, а не политикой. Сразу после Ништадтского мира возник и удобный повод к войне: лезгины напали



на Шемаху, где в то время находились русские купцы, и стали грабить всех без разбору, убили нескольких русских и захватили товаров на полмиллиона рублей. Волынский предупреждал, что, если царь теперь не вмешается, Кавказ отойдет к туркам и «тогда вашему величеству уже будет трудно не токмо чужого искать, но и свое отбирать».

Петр отвечал: «На оное ваше мнение отвечаю, что сего случая не пропустить зело то изрядно, и мы уже довольную часть войска к Волге маршировать велели на квартиры, отколь весной пойдут в Астрахань».

Волынский настаивал на привлечении к войне с Персией Грузии и Кабарды, но Петр, памятуя свой печальный опыт союза с Молдавией и Валахией, проявлял осторожность: «Что же вы пишете о принце грузинском, одного и прочих христиан, ежели кто к этому делу желателен будет, обнадеживайте, но чтоб до прибытия наших войск ничего не зачинали (по обыкновенной дерзости тех народов), а тогда поступали бы с совету».

Пока шла переписка, стало известно, что афганцы, восстав против Гуссейна, разбили персидское войско и овладели Исфаханом. Гуссейн был низложен, вместо него на престол взошел его сын Тахмасы-Мирза. Лезгины, стремясь избежать возмездия за разграбление Шемахи и убийство русских купцов, искали покровительства султана. Нужно было предупредить появление турок на Кавказе.

Петр заторопился. В начале мая 1722 года из Москвы выступили гвардейские полки. За ними выехали Петр с Екатериной в сопровождении Апраксина, Толстого и других вельмож. В Коломне царь со свитой сели на суда и поплыли в Астрахань. Несмотря на спешку, любопытство Петра брало верх, так что путешествие растянулось на целый месяц: царь останавливался в каждом городке и вникал во все мелочи местного управления и быта — писал указы об усовершенствовании крестьянских изб, об изменении конструкции волжских судов, об улучшении торговли... Он стал первым русским государем, посетившим Казань, интересовался казанскими верфями, церквями, монастырями, осмотрел казенную прядильную фабрику и, найдя, что работает она слабо, вполсилы, да и товар выпускает неважный — не в пример процветающей по соседству частной фабрике, — тут же и передал казенную фабрику предприимчивому купцу. В Саратове, на борту своей галеры, он встретился



с семидесятилетним калмыцким ханом Аюкой. Екатерина подарила жене хана золотые часы, усыпанные бриллиантами; хан в ответ согласился послать своих калмыков в каспийский поход.

В Астрахани царь пробыл еще месяц, заканчивая последние приготовления к походу. К персидской границе стянулись значительные силы: пехоты считали 22 000, конницы 9 000, матросов 5 000; к регулярным войскам присоединилось 16 000 казаков и 4 000 калмыков. Пока подходили войска, Петр наблюдал за промыслом белуги — ее сероватую икру русские считали лакомством и предпочитали есть сами, тогда как черную осетровую без сожаления вывозили в Европу.



Кафтан Петра I



Мундир полковника Преображенского полка, принадлежавший Петру I



27 июля, в день Гангутского сражения, русские войска высадились на побережье в Аграханском заливе. Петр сошел на землю первым — его доставили на берег на доске четыре гребца, так как шлюпки застряли на мелководье. Царь тут же решил, что всем офицерам, не бывавшим раньше на Каспии, следует искупаться в море, и сам подал пример, приказав погрузить доску, на которой сидел, в воду.

Дождавшись конницы, которая много потерпела в степном походе, и разослав воззвания к окрестным народам, царь двинулся к Дербенту по узкой береговой полосе, зажатой между морем и скалами. По пути произошла всего одна стычка с местными горцами — русские сожгли селение, князек которого распорол грудь трем казакам, приехавшим к нему с царским манифестом. Петра поразило мужество горцев: они бились в одиночку и, когда у них кончались патроны, орудовали кинжалами. Впрочем, им удалось убить всего пятерых драгун и семерых казаков, тогда как русские напластали человек с шестьсот.

Прочие князьки выказали повиновение. В Тарках местный мусульманский князь в знак доверия привел в русский лагерь всех своих жен и наложниц. Екатерина поместила их в свой шатер и приглашала офицеров полюбоваться прекрасными гуриями.

15 августа, в Успеньев день, Петр и Екатерина слушали всеобщую в походной церкви и после богослужения положили по камню на том месте, где стоял алтарь. То же самое сделали и солдаты, и в память об этом событии на месте церкви вырос каменный курган.

Спустя двенадцать дней армия подошла к Дербенту, который, по преданию, основал Александр Македонский. Сопротивления не было: дербентцы были рады обрести защитников от разбойных набегов лезгин. Дербентский наиб, выйдя навстречу царю за версту от городских ворот, пал на колени и поднес Петру на подушке из персидской парчи серебряные ключи от города. Когда Петр подъехал к кизлярским воротам, внезапно случилось несколько слабых толчков землетрясения. Наиб льстиво заявил царю, что его могущество поколебало стены Дербента.

Конечной целью похода была Шемаха, под стенами которой Петра дождалось войско грузинского царя Вахтанга VI. Но проходили дни томительного ожидания, а царской армии



все не было. «А мы по сие время здесь стоим и не знаем, что делать», — сокрушался Вахтанг. Причиной задержки русской армии были жара и бескормица. Солдаты изнемогали от невыносимой духоты и нещадного пекла. Сам Петр обрил голову и днем ходил в шляпе с широкими полями, а холодными вечерами надевал парик, сделанный из собственных волос. Екатерина последовала его примеру — остригла волосы, а вечером появлялась в гренадерском кивере. Вообще она вела себя как настоящая офицерская жена, ничуть не затрудняясь делать верхом двойные и тройные переходы, жить в палатке и спать на жесткой постели. Она верхом делала смотры войскам, во время которых раздавала солдатам из собственных рук по стакану водки. Ей случалось вмешиваться и в распоряжения мужа. В сильную жару Петр давал приказ выступать в поход, между тем как сам засыпал, в ожидании вечерней прохлады, а просыпаясь, видел иногда, что ни один человек не двинулся с места. «Какой же генерал отменил мое приказание?» — сурово спрашивал он. Екатерина смело выступала вперед: «Это сделала я, иначе ваши люди издохли бы от жары и жажды».

Но гораздо сильнее жары давал себя знать голод. Суда с припасами, отправленные из Астрахани в Дербент, попали в шторм и частью вернулись назад, а те, что доплыли, дали течь, в результате чего находившаяся в них мука пришла в негодность. К началу сентября провианта для скудных солдатских пайков осталось всего на три недели. Петру на ум все чаще приходил прутский конфуз. На военном совете было принято решение оставить гарнизон в Дербенте и повернуть назад.

4 октября царь возвратился в Астрахань, где задержался на месяц, устраивая войска на зимние квартиры и налаживая уход за больными. Здесь он и сам испытал первый жестокий приступ мочекаменной болезни. В конце ноября он с Екатериной отправился в Москву. Еще до их отъезда выпал снег. Волгу ниже Царицына сковало льдом, пришлось пересест с галер на сани.

13 декабря Петр совершил торжественный въезд в Москву. Триумфальную арку украшала панорама с изображением Дербента и надписью на латыни: «Сию крепость соорудил сильный и храбрый, но владеет ею сильнейший и храбрейший». Празднование победы незаметно сменилось предрождественским весельем. Карнавальная процессия в этом году превзошла пре-



дыдущие. По улицам Москвы разъезжал санный поезд — нечто вроде маленькой морской эскадры. Следом за колесницей Нептуна, сделанной в виде раковины, ехал большой 32-пушечный фрегат царя, с тремя мачтами, со всеми снастями, флагом и парусами. Петр в матросской одежде представлял капитана корабля. Следом шесть лошадей тащили огромного морского змея, сооруженного из связанных друг с другом двадцати четырех маленьких саней, в которых сидели разнообразные маски. За змеем ехали огромная вызолоченная баржа императрицы, фрегат адмирала Апраксина, одетого голландским бургомистром, и шлюпки с иностранными дипломатами в синих домино. Сухопутная часть процессии была представлена колесницей Бахуса, упряжкой быков, везущих князя-папу, саниями князя-кесаря, запряженными медведями, и колесницей Кантемира, одетого турком.

В феврале, перед отъездом в Петербург, Петр порадовал компанию еще одним необычным зрелищем — сожжением своего Преображенского дворца. Обложенный фейерверочными материалами, дворец красиво просвечивался сквозь разноцветный дым, вспыхивая многоцветными огнями. Когда же взорам открылось пепелище, Петр сказал герцогу Голштинскому, который, будучи племянником Карла XII, не терял надежды когда-нибудь занять шведский престол:

— Вот образ войны: блестящие подвиги, за которыми следует разрушение. Да исчезнет вместе с этим домом, в котором выработались мои первые замыслы против Швеции, всякие мысли, могущие когда-нибудь снова вооружить мою руку против этого государства, и да будет оно наивернейшим союзником моей империи!

В следующем году русские войска все-таки заняли Шемаху — но уже без Петра. Шаху было объявлено, что если он не уступит Дербент и Шемаху России, то царь отдаст эти города туркам. Сраженный русской логикой, шах согласился подписать мирный договор на этих условиях⁵⁶.

⁵⁶ В 1732 г. императрица Анна Иоанновна вернула эти земли Персии, так как держать там войска было накладно — непривычный для русских климат уносил ежегодно жизни 15 тысяч русских солдат. Северный Кавказ вновь вошел в состав России при Екатерине II, а Персия отдала каспийские завоевания Петра лишь императору Александру I — в 1813 г.



Раз, сидя за столом с компанией, Петр разговорился о своем отце, о его делах в Польше, о затруднениях, которые наделал ему патриарх Никон. Граф Мусин-Пушкин, подхватив разговор, принялся восхвалять сына и унижать отца, что-де царь Алексей Михайлович сам мало что делал, а все больше боярин Морозов с разными другими министрами. Все дело в министрах: каковы они у государя, таковы и его дела.

Петра раздосадовали такие речи. В гневе встав из-за стола, он крикнул Мусину-Пушкину:

— В твоём порицании дел моего отца и в похвале моим больше брани на меня, чем я могу стерпеть.

Мусин-Пушкин испуганно вжал голову в плечи, но царь не тронул его. Подойдя к князю Якову Долгорукому и став за его креслом, Петр сказал ему:

— Вот ты больше всех меня бранишь и так больно досаждаешь мне своими спорами, что я часто едва не теряю терпение, а как рассужу, то и увижу, что ты искренно меня и государство любишь и правду говоришь, за что я внутренне тебе благодарен. А теперь я спрошу тебя, как ты думаешь о делах отца моего и моих, и уверен, что ты нелицемерно скажешь мне правду.

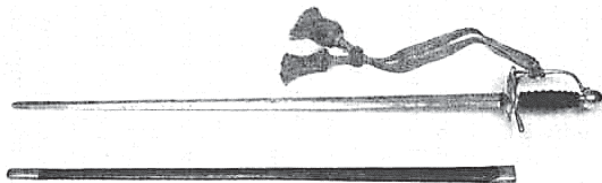
Долгорукий погладил длинные усы.

— Изволь, государь, сесть, а я подумаю.

Петр сел возле него. Все смотрели на Долгорукого и ждали, что он скажет.

Помолчав немного, князь заговорил так:

— На вопрос твой нельзя ответить коротко, потому что у тебя с отцом дела разные: в одном ты больше заслуживаешь хвалы и благодарности, в другом — твой отец. Три важнейших дела у царей: первое — внутренняя расправа и правосудие, это ваше главное дело.



Шпага Петра I



Для этого у отца твоего было больше досуга, а у тебя еще и времени подумать о том не было, и потому в этом отец твой больше тебя сделал. Но когда ты займешься этим, может быть, и больше отцова сделаешь. Да и пора уж тебе о том подумать. Другое дело — военное. Этим делом отец твой много хвалы заслужил и великую пользу государству принес, устройством регулярных войск тебе путь показал. Но после него неразумные люди все его начинания расстроили, так что ты почти все вновь начинал и в лучшее состояние привел. Однако хоть и много я о том думал, но еще не знаю, кому из вас в этом деле предпочтение отдать. Третье дело — устройство флота, внешние союзы, отношения к иностранным государствам. В этом ты гораздо больше пользы государству принес и себе чести заслужил, нежели твой отец, с чем, надеюсь, и сам согласишься. А что говорят, якобы каковы министры у государей, таковы и дела их, так я думаю о том совсем напротив, что умные государи умеют и умных советников выбирать и за верностью их наблюдать. Потому у мудрого государя не может быть глупых министров, ибо он может о достоинстве каждого рассудить и правые советы различить.

Петр выслушал все терпеливо и крепко расцеловал старого князя, процитировав Священное Писание:

— «Благий рабе верный! В мале был еси мне верен, над многими тя поставлю».

Чем шире расстиралось поприще войны и преобразований, тем чаще Петр задумывался над смыслом прожитых лет и понесенных трудов, пытаясь сквозь табачно-винный дурман различить контуры своей судьбы. В веселой застольной беседе любил поговорить, особенно с иностранцами, о тяжелых первых годах своей деятельности, когда ему разом приходилось заводить регулярное войско и флот, насаждать в своем праздном, грубом народе науки, чувства храбрости, верности, чести, и как сначала все это стоило ему страшных трудов, но теперь, слава богу, та пора миновала, и он может быть спокойнее; впрочем, чтобы хорошо узнать народ, которым управляешь, всегда надо много трудиться. А наедине с собой он всматривался в свою уже, увы, окутанную дымкой времени юность и спрашивал себя: поверят ли потомки, что, забавляясь в Преображенском с потешными полками и катаясь на ботике по Плещееву озеру, он имел в виду созидание новой России? Ведь и в мыслях не было! Да и мог ли он



представить, что ждет его впереди, к чему и какими путями приведет его долгая война со шведом? Ведь все, что доньше сделано, нуждами войны порождено, и если со стороны посмотреть, как бы само собой соделалось: чтобы победить, нужно было все вокруг менять и самим меняться. Но, стремясь придать своей жизни, беспорядочной и противоречивой, как у всякого человека, чеканную форму судьбы, Петр сознательно и бессознательно распространял легенду о своей творческой деятельности, о царе-ваятеле, который высекает из грубого мрамора человеческую фигуру и уже почти до половины закончил работу.

И прав князь Яков: теперь, когда армия и флот переполировались, яко злато в горниле, когда добыто насущнейшее — море, самое время заняться гражданским правлением...

Царь-ваятель высекал нового человека, только этот новый человек выходил чрезвычайно похожим на старого: то же заспанное рыло, тот же страх в глазах, те же вороватые повадки; нового в нем было разве то, что теперь вместе с родной сивухой от него разило и заграничным табаком. Царь-портной кроил для России кафтан по самой последней европейской моде, только кафтан этот получался какой-то странный: не то болтается неуклюже, не то жмет — не поймешь, и как его ни ушивай, ни распарывай, а он все не впору.

Петр хотел дать стране простые и прочные принципы управления. В 1708 году вся Россия была поделена на 11 губерний. Эти учреждения были вызваны к жизни нуждами шведской войны. Стотысячная армия и большой флот поглощали огромные казенные средства. Чтобы прокормить это многочисленное воинство, Петр решил поделить Россию на огромные округа (губернии), каждая из которых должна была содержать определенные воинские часть и флотские команды (про 19 полков канцелярия, однако, просто забыла). Губернаторы облагали подопечное население новыми поборами, но все равно не поспевали за год от года растущими нуждами казны. Линейные балтийские корабли по недостатку денег на оборудование боялись выходить в открытое море. Матросы из-за плохой пищи мерли как мухи. О русских эскадрах, заходивших в иностранные порты, русские заграничные резиденты писали, что «здесь мы нажили такую славу, что в тысячу лет не угаснет... Команды умерло здесь близко 150 человек, и из них много бросали в воду в канал, а ныне уже человек 12, которых принесло



ко дворам...» (Девиер из Копенгагена в 1716 году). Полки вовремя не получали жалованье. От гнилого продовольствия рекруты заболели, попадали в госпиталь, где от худого смотрения и содержания умирали. Один адмирал сообщал, что у него из 500 рекрут осталось в течение одного месяца всего 278, да и те, «почитай, померли с голоду... и обретаются в таком бедном состоянии от лишения одежды, что, опасаясь, вскоре помрут». Послам не высылали денег, и им нечем было ни содержать себя, ни делать необходимые подкупы.

Петр подгонял нерадивых губернаторов жестокими указами, грозил, что будет «не словом, но руками с оными поступать», предписывал Сенату «не щадить в штрафах» тех губернаторов, которые не умеют «без тягости народной» выискивать новые доходы. И все равно не мог добиться от губернаторов сколько-нибудь ясной отчетности. Порой он ловил себя на мысли, что знает о положении Швеции, Голландии или Англии больше, чем о состоянии той же Петербургской губернии, губернатору которой, светлейшему князю и любимому другу Данилычу, то и дело напоминал: «Дай знать, которые у вас товары, на сколько, куда продано, и куда те деньги идут, и тако о вашей губернии ни о чем не ведаем, будто об ином государстве».

Чтобы улучшить управление огромными губерниями, Петр делил их на провинции во главе с воеводами (хотел и провинции раздробить, по шведскому образцу, на более мелкие составные — приходы, да Сенат отговорил, сославшись на то, что «в уездах из крестьянства умных людей нет»). Деятельность воевод подробнейшим образом определяла инструкция. Но воевода, приехав на место, с недоумением вертел царскую инструкцию в руках и в конце концов клал ее под сукно по решительному отсутствию возможности приложить силы к делу, которого не существовало. Инструкция требует, к примеру, «иметь попечение о госпиталях», но, кроме столиц, на Руси и слыхом не слыхивали о больницах, доктора были редкостью, не во всякой провинции можно было сыскать фельдшера; инструкция предписывает воеводе заботу о сиротских домах, а где их взять — опять же ни одного нету, кроме как в столицах, по лицу всей русской земли. А где еще, кроме Москвы и Киева, существуют академии, о благе которых должен пеших воевода? Как заводить школы, если нет ни средств, ни книг, ни учителей, ни учеников, ни охоты учиться? Вот вятский воевода Чаадаев во что бы то ни стало



захотел иметь у себя в провинции цифирную школу, отвел под нее одну из комнат в своей канцелярии и даже сыскал учителей. Дело стало за малым — за учениками. Пришлось собирать их на родной, отеческий манер: по провинции были разосланы солдаты с приказанием хватать всех юнцов, годных для обучения, и под караулом доставлять в Вятку. Однако учение не заладилось, школяры расползались, как тараканы, из школы во все щели, и Чаадаев кончил тем, что махнул рукой на свое просветительское предприятие.

Обязанностей у воеводы много, а права-то птичьи. Изволь насаждать благоденствие, если любой драгунский капитан из расквартированного в провинции полка может вызвать воеводу на полковой двор и разнести на чем свет стоит, во всеуслышание грозя выбить воеводе кишки и уморить его под арестом!

Вот и сидели воеводы в уездных городах, как на острове, отовсюду захлестываемом бушующими волнами. Бежецкий воевода доносил, что-де в Бежецке ходят великим собранием воры и разбойники человек по сто и больше со знаменами, пистоллями и фузеями; помещиковы и монастырские села и деревни разоряют и жгут крестьян огнем до смерти, и пожитки их грабят, церкви, иконы и церковную всякую утварь грабят же и жгут, над женами и девками блудное дело творят и девкам в тайные уды спицы колотят, а биться-де против тех воров не с кем и не с чем. Из других провинций доходили известия, что разбойничьи шайки, предводимые беглыми солдатами, соединялись в хорошо устроенные конные отряды и нападали «порядком регулярным», уничтожали многолюдные села, останавливали казенные сборы, врывались в города. Да что говорить, если сам светлейший князь и петербургский губернатор Меншиков не краснея объявлял Сенату, что не может справиться с разбойниками в своей губернии!

И выходило так, что, вместо того чтобы пещись о насаждении и процветании ни ему, ни народу не ведомых благ, воевода, памятуя цареву дубинку, заботился прежде всего о своей исполнительности перед теми, кто шлет ему строжайшие указы и предписания, и боялся шагу ступить самостоятельно. Вот и ложились на стол царю донесения от Соликамского воеводы о том, что тюремный острог и избы у него весьма подгнили, так что арестанты, того гляди, разбегутся, а новые острог и избы без царского указу он, воевода, делать не смеет; или от москов-



ского губернатора, также без указа императорского величества не осмеливавшегося чинить деревянную мостовую в Москве, на Болоте, между Балчугом и Пятницкой.

Приходилось Петру засылать в губернии и провинции с ревизиями гвардейских майоров, капитанов и даже нижних чинов — сержантов, капралов, солдат. Посланные гвардейцы снабжались обширными полномочиями: им предписывалось «губернаторам непрестанно докучать», а заметив упущения с их стороны, «сковать за ноги и на шею положить цепь и по то время не освобождать, пока они не изготовят ведомостей». Так посланные и поступали. Страх перед этими гвардейцами был таков, что редко кто даже из заслуженных людей пробовал им перечить. Раз московский вице-губернатор, заслуженный бригадир Воейков разобрал присланного Преображенского сержанта, вытолкал из своей канцелярии, замахивался на него тростью и кричал: «Я не токмо тебя, но лучших ваших Преображенских сержантов бивал батожем и тебя отпорю и в оковах пошлю в Петербург!» Но и Воейков должен был смириться, когда на место перетрусившего сержанта приехал из Петербурга суровый солдат Преображенского полка Поликарп Пустошкин. Новый ревизор остался крайне недоволен состоянием дел у московской администрации и «учинил жестокою передрыгу, все канцелярии опустошил и всем здешним правителям не токмо ноги, но и шеи смирил цепями». Так солдат Пустошкин посадил на цепь бригадира Воейкова.

Новая хоромина по-старому строилась, и благоденствовать в ней приходилось под постоянной угрозой истязания и «весьма живота лишения». Побои, плеть и плаха — ничем иным не мог Петр ободрить своих приунывших от свалившихся на их голову благ подданных.

С Сенатом тоже происходила подобная путаница. Призванный неустанно трудиться о «распорядке государства», об устройстве правления, дотоле «не распоряженного», поставленный законом рядом с Богом, царем и «всем честным светом», Сенат на деле являлся проводником самодержавной воли, приказчиком, а не хозяином. За каждую ошибку или недоглядку сенаторам грозила крутая хозяйская расправа (правда, чтобы



не ронять авторитета сенаторов, Петр колотил их дубинкой наедине, в своей токарной мастерской, а затем, открыв дверь, вежливо провожал и звал к себе на обед). Неурядицы в распоряжениях Сената усугублялись еще и тем, что ни один из ближайших царевых сподвижников — ни Меншиков, ни Апраксин, ни Головкин, ни Шереметев — не входили в его состав. Эти «верховные господа», или «принципалы», могли адресоваться в Сенат от имени царя — «указом царского величества». В то же время Петр указывал Меншикову и другим «верховным господам», что они должны подчиняться Сенату.

Если Сенат в какой-то мере и представлял достойно царскую персону, то лишь благодаря восьмидесятилетнему князю Якову Долгорукому. Первый русский посол в Париже, откуда он когда-то привез Петру астролябию, Долгорукий в свои шестьдесят два года участвовал в битве под Нарвой и попал в плен. Проведя в Швеции одиннадцать лет, он, наконец, сумел бежать в Россию и был назначен «первоприсутствующим» сенатором. Могучего телосложения, с двойным подбородком и пышными усами, Долгорукий был проникновен, смел, горяч, своеволен. Когда ему не хватало доводов, он брал горлом. Мало кто не боялся перечить вспыльчивому старику, разве что Меншиков, который уже вообще ничего не боялся. Долгорукий бесстрашно говорил правду в глаза царю, а однажды в Сенате при всех разодрал царский указ, уверенный в том, что Петр подписал его, не обдумав. Царь с грозным видом выслушал его оправдания, смягчился и переписал указ.

Но даже Долгорукий не мог заставить сенаторов быть расторопнее. К концу правления Петра в Сенате скопилось около шестнадцати тысяч нерешенных дел.

Учреждение, которое надзидало за всем управлением, само требовало надзора. Видя, что заменить свою персону девятью сенаторами никак не получается, Петр учредил должность генерал-прокурора, который должен был представлять в Сенате особу императора — «сей чин яко око наше и стряпчий о делах государственных». Этим царевым оком стал Павел Иванович Ягужинский. Он родился в Москве, в семье выходцев из Литвы самого подлого происхождения, говорили, что он ведет свой род от «свинопаса». Каким-то образом зачисленный в гвардию, Ягужинский приглянулся Петру за веселый нрав и сметливость и был взят в царевы денщики. Во время путешествия



Петра в Париж Ягужинский уже прослыл у французов царским любимцем. Денщик любил выпить, был вспыльчив, каждую неделю затевал с кем-нибудь ссору, легко наживал врага и так же легко забывал об этом. Зато он был безоговорочно предан Петру, *почти* не крал и смело брал на себя ответственные решения. Царь чрезвычайно полагался на него, что он в качестве генерал-прокурора помешает сенаторам играть в закон, как в карты, и подводить мины «под фортецию правды».

В помощь Сенату Петр учредил коллегии. С этими учреждениями он познакомился в своих частых разъездах по заграницам. В их полезности его окончательно убедил Лейбниц, который писал: «Не может существовать лучшего управления, нежели посредством коллегий. Как в часах одно колесо приводит в движение другое, так и в большой государственной машине одна коллегия возбуждает к деятельности другую, и, когда все будет находиться в надлежащей соразмерности и тесной гармонии, тогда стрелка мудрости будет указывать стране часы благоденствия». Возможно, это сравнение с часами и сыграло решающую роль по сильнейшему пристрастию и уважению царя к механике.

Образец устройства коллегий Петр, по обыкновению, стянул у побежденного врага — у шведов. На государственные учреждения царь смотрел взглядом корабельного мастера: зачем изобретать какой-то особый русский фрегат, когда на Белом и Балтийском морях прекрасно плавают голландские и английские корабли, между тем как самодельных русских судов уже немало сгнило в Переяславле.

Первоначально коллегий было девять, потом к имеющимся девяти прибавили десятую. Из Германии, Силезии и Чехии привезли сотни полторы охотников до службы в русских коллегиях: иноземцы должны были служить опытными руководителями русских новичков. «Немцы нужны нам лет на пятьдесят, — говаривал Петр, — а потом мы их выкинем». С той же целью к русскому президенту коллегии назначался обыкновенно вице-президент иноземец. Политическая наука трудно доставалась русским людям. Порой они представляли такие донесения, что их невозможно было не только причислить к какой-нибудь категории деловых бумаг, но и просто понять, о чем они



трактуют. Царю приходилось постоянно напоминать президентам коллегий, что они должны являться в присутствие дважды в неделю, не вести на заседаниях «разговоров о посторонних делах, которые не касаются службы нашей, а тем более заниматься бездельными разговорами и шутками», не перебивать друг друга во время выступлений, и вести себя как подобает государственным мужам, а не «базарным бабам».

Колеса в новой машине не пошли вдруг хорошо: вместо того чтобы приводить взаимно друг друга в движение, они цеплялись одно за другое и мешали общему действию. Сравнение Лейбница было ошибочно как механически — не колесо приводит в действие колесо, а пружина колеса, — так и политически, ибо той пружинной, которая приводила в движение российский государственный механизм, по-прежнему оставалась самодержавная воля Петра.

Царь выражал надежду, что в новых учреждениях всякий найдет правду, не обращаясь за ней к самому царю, и поднимал бокал за введение коллегий, как ранее за полтавскую викторию. Эта уверенность была преждевременна. В Сенате и коллегиях шли ожесточенные раздоры и разыгрывались непристойные сцены. Природные князья сенаторы Голицын и Долгорукий презирали неродовитых выскочек Меншикова, Шафирова и Ягужинского, канцлер Головкин и подканцлер Шафиров терпеть не могли друг друга, сенатский обер-прокурор Скорняков-Писарев состоял в непримиримой вражде с генерал-прокурором Ягужинским — и все они со своими личными дрызгами обращались к царю. Сенаторские совещания порой превращались в запальчивые перебранки, на которых звучали самые оскорбительные обвинения. На обеде у генерал-прокурора по поводу взятия Дербента обер-прокурор, успевший уже дважды подражаться с прокурором юстиц-коллегии, едва не сцепился с подканцлером, и потом оба, донося друг на друга царю, извинялись — один тем, что был зело пьян, а другой тем, что был еще пьянее. А светлейший князь Меншиков однажды всему присутствию сенаторов заявил, что они занимаются пустяками и пренебрегают государственными интересами.

Да и то сказать, редкий из сенаторов миновал суда или своеручной царской расправы за хищения и злоупотребления, не исключая и князя Долгорукого. После возвращения из персидского похода царь нарядил Верховный суд над проворо-



вавшимся Шафировым, который был приговорен к смертной казни; царь, однако, снял подканцлера с плахи и отправил в сибирскую ссылку.

Сам светлейший обличитель Сената и здесь шел впереди всей братии. Меншиков был самым богатым человеком в России. Говорили, что он мог бы проехать всю империю от Риги до Дербента, останавливаясь на ночлег только в своих имениях, — может быть, так оно и было. А вот разговоры про княжеский миллион, хранившийся в Лондоне, были чистейшей правдой. Данилыч задавал обеды, состоявшие из двухсот блюд, выезжал в золоченой карете, запряженной шестериком, с эскортом из драгун и гайдуков. Светлейший окружил себя шайкой чиновных хищников, обогащавшихся и обогащавших своего патрона за счет казны. Трех из них, петербургского вице-губернатора Корсакова и сенаторов Волконского и Опухтина, публично высекли кнутом. Самому любезному другу Петр до поры до времени все прощал, тем более что сам и понуждал Данилыча жить как подобает губернатору парадиза. Однажды, отвечая на вопрос Толстого, каково будет решение государя по очередному обвинению светлейшего в крупных хищениях, Петр сказал: «Никакого. Меншиков всегда останется Меншиковым». Неизменную заступницу Меншиков находил в Екатерине, не забывавшей, кому она обязана своим взлетом. Но с годами царь хмурился все мрачнее, слыша о подвигах своего любимца, и как-то сказал ходатайствовавшей за него Екатерине: «Меншиков в беззаконии зачат, во гресех родила его мать и в плутовстве скончает живот свой, и если не исправится, быть ему без головы».

Под высоким покровительством Меншикова и всего Сената казнокрадство и взяточничество достигли небывалых прежде размеров. Петр терялся в догадках, как изловить казенные деньги, «которые по зарукавьям идут». Раз, слушая в Сенате доклады о хищениях, он вышел из себя и сгоряча тотчас велел обнародовать именной указ, гласивший, что если кто украдет у казны столько, что на эти деньги можно купить веревку, то на ней и будет повешен. Трезвое государево око, генерал-прокурор Ягужинский возразил царю: «Разве ваше величество хочет остаться один, безподданных? Мы все ворует, только один больше и приметнее, чем другой». Петр рассмеялся, потом печально покачал головой и отменил указ. Царь понимал, что его сотрудники не были искренними приверженцами его деяний, не столько



поддерживали преобразования, сколько сами держались за них. Да, он, Петр, служит Отечеству, но служить Петру еще не значит служить России. Идея Отечества для его слуг еще слишком высока, не по их гражданскому росту. И однако, если быть честным перед самим собой, то что он будет делать без Меншикова, Долгорукого, Апраксина и других? Впрочем, в другой раз на вопрос обер-фискалу Нестерову, обрубить ли ему только сучья или положить топор на самые корни, Петр ответил: «Руби все дотла». Может быть, Нестеров и последовал бы царскому указанию, если бы вскоре сам не был четвертован за злоупотребления.

В последние годы жизни указы Петра приобрели несвойственное им ранее многословие и расплывчатость. Это были скорее царственные поучения, в которых автор жаловался на общую служебную распущенность, скорбел о пренебрежении законами, грозящем государству конечным падением, и сетовал, что ему не дают покоя частыми просьбами, что он не может за всем усмотреть сам: ведь он не ангел, а и ангелы не вездесущи, всяк к своему месту приставлен — «где присутствует, инде его нет». Иногда Петру казалось, что писал эти указы не он, а тот усталый человек с полотна Карла де Моора.

Для полков, кораблей, канцелярий нужны были знающие люди. В 1721 году всем дворянам, как состоящим на службе, так и уволенным от нее, велено было явиться на смотр (кроме тех, кто жил в отдаленной Сибири и Астрахани). За неявку царский указ грозил «шельмованием» или «политической смертью»: такой «нетчик» исключался из общества добрых людей и объявлялся вне закона; всякий безнаказанно мог его ограбить, ранить и даже убить; лист с его напечатанным именем палач с барабанным боем прибывал к виселице на площади — «для публики», дабы всяк знал о нем как об ослушнике царского указа и равно изменнике. Особенно усердно сыском нетчиков занимались фискалы. Обер-фискал Нестеров похвалялся тем, что один сыскал более тысячи человек недорослей и кроющихся от службы. Несмотря на эти строгие меры, на смотр явились немногие дворяне, и Петр должен был отсрочить явку до января следующего года.

Петр твердил дворянству одно: служба государству — первейшая обязанность и его самого, как царя, и шляхетства,



«которое только службой и благородно и отлично от подлости», и, утверждая принцип «знатность по годности, а не по породе», вводил внесловную табель о рангах. Но к обязательной службе он добавил новую, подготовительную повинность — учебную. До пятнадцатилетнего возраста дети дворян должны были обучаться «цыфири» и геометрии в полковых, архиерейских, математических, навигационных, инженерных и артиллерийских школах. Для этого в каждую губернию назначались по два учителя. Священникам запрещалось венчать молодых дворян, не предоставивших справки от этих учителей об окончании цифровой школы.

Но школы эти большей частью пустовали, и губернаторы сообщали в столицу, что учителя без дела сидят и даром жалование получают. Дворяне страшно тяготились цифровой повинностью и всячески старались от нее укрыться. Раз толпа дворян, определенная на смотре в математическую школу, записалась в духовное Заиконоспасское училище. Проведав об этом, Петр велел взять любителей богословия в Петербургскую морскую школу и в наказание заставил их бить сваи на Мойке. Среди наказанных были родственники генерал-адмирала Апраксина, который обиделся за такое поношение родовой чести, но выразил свой протест весьма своеобразно. Явившись на Мойку и увидев приближающегося царя, он снял с себя адмиральский мундир с андреевской лентой, повесил его на шест и принялся усердно вколачивать сваи вместе с дворянами. Петр, подойдя к нему, с удивлением спросил: «Как, Федор Матвеевич, будучи генерал-адмиралом и кавалером, да сам вколачиваешь сваи?» Апраксин простодушно отвечал: «Здесь, государь, бьют сваи все мои племянники да внучата, а я что за человек, какое имею в роде преимущество?» Царь велел ему не валять дурака и заняться своим прямым делом.

Окончившие цифирное обучение зачислялись рядовыми в гвардейские или даже армейские полки. В драгунском полку князя Меншикова служили рядовыми одних князей более трехсот человек. Издавна привыкшее к отбыванию воинской службы, дворянство еще кое-как мирилось с тяготами солдатства, зато назначение на флот или в навигационное заграничное обучение по-прежнему рассматривалось как несчастье, больше которого уже и быть невозможно. Однако увильнуть от этой науки, скрыться от зоркого глаза царя нечего было и думать. Вологодский дворянин Иван Марков, посланный в Венецию, утек оттуда



в Россию и постригся в монахи. Только монашеский клобук не спас бедного навигатора: иеромонаха Иоасафа очень скоро извлекли из стен монастырской обители и отправили опять изучать навигацию.

Странное и жалостное зрелище представляли собой толпы русских дворян в чужих землях, труден и малоплоден был их образовательный путь по закоулкам европейской культуры. С одинаковым удивлением они таращили глаза как на высшие достижения человеческих рук и мыслей, так и на всякие затейливые пустяки. Те из них, которые пытались разобраться в своих впечатлениях, оказались бессильны выщедить из них хоть какой-нибудь мыслительный осадок. Один важный московский князь, посетивший Амстердам (имя его осталось неизвестным), наиболее подробно описал свой ужин в каком-то доме с догола раздетой женской прислугой; он же, оказавшись в соборе Святого Петра в Риме, не придумал ничего лучшего для его изучения, как вымерять шагами его длину и ширину и описать обои на стенах. Другой навигатор, князь Борис Иванович Куракин, чтобы обозначить место в Роттердаме, где он остановился, упомянул, что рядом, на площади, «сделан мужик вылитый медный с книгою на знак тому, что был человек гораздо ученый и часто людей учил, и тому на знак то сделано», не найдя, что еще сказать об Эразме Роттердамском; а прослушав церковную ораторию, отметил лишь «дикие выходки на трубах, что внезапно многую затменность дают человеку». В Венеции он был сильно «инаморат» в одну горожанку, не избег неприятностей с соперниками по своей «куртуази» и имел «две немалые причины» с «жентиломами венецкими», маркизами Палавичини и Скиовени, — «близко было дуэллию». По возвращении домой эти «добрые кавалеры» легко стряхивали с себя вместе с дорожной пылью и шелуху культуры. Кое-что, впрочем, прилипало накрепко, хотя и не то, за чем Петр посылал их за границу.

Для дворян, за границей не бывавших и необыкших к людскости, Петр велел перевести и напечатать немецкую книжицу «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению, собранное от разных авторов». Самодовольно-немецкое дворянское «зерцало», имевшее целью преподать правила, как держать себя в обществе, чтобы добиться успеха при дворе и в свете, то есть стать лощеным фатом и прожженным придворным пройдохой, пришлось по вкусу тамбов-



ско-рязанским «жентиломам» — книжонка выдержала три издания еще при жизни Петра.

Первое правило, вещал сей оракул, — не быть подобным деревенскому мужику, который на солнце валяется; не славная фамилия, не высокий род приводят к шляхетству, но благочестивые поступки и добродетели, украшающие шляхтича, коих три: приветливость, смирение и учтивость. Младой шляхтич, желающий прямым придворным стать, должен быть обучен наипаче языкам, конной езде, танцеванию, шпажной битве, краснотелю и в книгах начитан, уметь добрый разговор вести, намерения своего никому не объявлять, дабы не упредил его другой, должен быть также отважен, неробок: кто при дворе стыдлив бывает, тот с порожними руками от двора отходит. Многие наставления звучали, как откровение: повеся голову и потупя глаза по улице не ходить и на людей косо не заглядывать, глядеть весело и приятно с благообразным постоянством, при встрече со знакомыми за три шага шляпу снять приятным образом, а не мимо прошедши оглядываться, в сапогах не танцевать, в обществе в круг не плевать, а на сторону, в комнате или в церкви в платок громко не сморкаться и не чихать, перстом в носу не копать, губ рукой не утирать, за столом на стол не опираться, руками по столу не колобродить, ногами не мотать, перстов не облизывать, костей не грызть, ножом зубов не чистить, головы не чесать, над пищей, как свинья, не чавкать, не проглотя куска не говорить, ибо так делают крестьяне. Меж собой «младые отроки» не должны были говорить по-русски, чтобы не поняла прислуга и можно было отличить их от незнающих болванов; со слугами предписывалось обращаться недоверчиво и презрительно, всячески их смирять.

Дрянная, пошлая книжонка, по словам Ключевского, надолго сделалась воспитателем чувств русского дворянства.

Покончив со шведской войной, Петр связывал «облегчение народу» с успехами промышленности и торговли. Во время путешествий по Европе представление о процветающей стране навсегда связалось у него с дымящими в городах фабриками и заводами, с лесом корабельных мачт в портах. Ни один полезный труд, как бы скромн он ни был, не прошел мимо его



внимания. Увидев как-то во французской деревушке священника, работавшего в садике, он сейчас же приступил к нему с расспросами и покинул его с убеждением: буду понуждать своих ленивых деревенских попов к обработке садов и полей, чтобы они снискивали надежнейший хлеб и лучшую жизнь. Вместе с практическими навыками организации производства Петр усвоил и теоретические взгляды тогдашних европейских экономистов, основная мысль которых состояла в том, что каждый народ для того, чтобы не беднеть, должен сам производить все продукты, им потребляемые, а чтобы богатеть, должен вывозить как можно больше и ввозить как можно меньше. Поэтому царь старался завести у себя дома всевозможные производства, не считаясь с тем, во что обойдется их заведение, — может, вначале и будет дороже заморского, зато потом, упрочившись, окупится. Впрочем, и в этом деле Петр оставался бережливым хозяином: поощряя разработку нетронутых природных богатств России, оборонял их от хищнических рук, от нерачительного истощения. Для охраны строевого леса не остановился даже перед тем, чтобы пойти наперекор вековому обычаю, предписывавшему хоронить покойников в цельных выдолбленных гробах, дубовых или сосновых. Указ 1723 года позволял изготавливать цельные гробы только из ели, березы и ольхи; сосновые гробы разрешалось сшивать из досок и по указанной мере, дубовые гробы запрещались безоговорочно.

Будя в народе дремлющие силы, Петр мало рассчитывал на добровольную народную тягу к благоденствию: «Хотя что добро и надобно, а новое дело, то наши люди без понуждения не сделают». Поэтому новые заводы основывались на казенные деньги, а затем передавались и даже навязывались торговым людям, — «а буде волею не похотят, хотя в неволю». Он сравнивал свой народ с детьми, которые без понуждения от учителя сами за азбуку не сядут и сперва досадуют, а как выучатся, благодарят. «Не все ль неволю сделано, — раздумчиво писал он в одном указе, оглядываясь назад, на свою тридцатилетнюю деятельность, — а уже за многое благодарение слышится, от чего уже плод произошел».

Россия покрывалась заводами, испещрялась каналами; в широко растиражированной книге «Цветущее состояние России при Петре Великом» царь оповещал соотечественников и иностранцев о наступившем в стране благоденствии. Однако



сделать богатым государство оказалось легче, чем обогатить народ, и прежде всего потому, что взрослые дети оказались поупрямее малолетних учеников. Как ни бился Петр, как ни старался «собрать рассыпанную храмину купечества», торговые люди упорно не желали воспользоваться предоставленными им преимуществами и возможностями и, вместо того чтобы пускать капиталы в оборот, зарывали их в землю, а те, кто поумнее, переправляли деньги в заграничные банки. В большинстве же своем купцы стремились не подвергать себя коммерческому риску, а пристроиться к какой-нибудь сытой кормушке. Вот и ложились на стол Петру донесения вроде следующего: «Купечество в Москве и городах само себе повредило и повреждает: из них сильные на маломочных налагают поборы несносные... зачем маломочные и паче приходят в скудость и бесторжищу... А иные купцы, и сами отбывая платежей и постоев, покинув и распродав жилища свои, разошлись в другие чины, в артиллерию, в извозчики и воротники, также записались... еще в защиту разных господ на дворы их московские и загородные... А иные подлогом, якобы за скудостью и болезнями, и в богадельни вошли, а иные и на заводы и на промыслы в прикащики и сидельцы...»; были и такие, кто «записались пролазом... в сенные истопники к комнате царевны Натальи Алексеевны, которые и поныне под той опекой имеют торги и лавки немалые, а иные ушли в другие губернии и в Сибирь». Другое донесение извещало царя, что «купечества весьма мало, и можно сказать, что уже нет».

Читая эти бумаги, Петр в гнев играл во всю скулу желваками. Для того ли он воевал беспрерывно двадцать с лишком лет, для того ли добывал моря, рыл каналы, чтобы те, кому надлежит всем этим воспользоваться, записывались пролазом в дворцовые истопники? Таков, значит, ответ ему на призыв к труду ради общего блага! Ну а те, кто все-таки вступает в коммерческие кумпанства, за торговое дело и взяться за умеют. Вот что пишет стокгольмский резидент Бестужев. Приплыли в Стокгольм на каких-то скорлупках русские купцы со шведом торговать — и чем? Деревянными ложками и калеными орехами! Купили сани и разъезжали по шведской столице, выхваливая свой товар, как дома; остановились же из экономии не в гостинице, а под открытым небом, у пристани, и тут же варили себе кашу из привезенной с собой крупы. Негоцианты! Ни шведским властям, ни самому Бестужеву, жаловался резидент,



«никакого послушания не оказывают, беспрестанно пьяные, бранятся и дерутся между собою, отчего немалое бесчестие русскому народу; и хотя я вашего величества указ им и объявлял, чтоб они смирно жили и чистенько себя в платье содержали, но они не только себя в платье чисто не содержат, но некоторые из них ходят в старом русском платье без галстуха, также некоторые и с бородами по улицам бродят».

При такой торговле все торговые трактаты, заключенные Петром чуть ли не со всеми государствами Европы при строгом уговоре о взаимных и одинаковых выгодах купцам обеих договаривающихся сторон, вырождались в односторонние договоры, так что русская торговля оказалась в руках иностранных купцов. Голландский резидент в Петербурге писал Остерману: «Что касается торговли компаниями, то это дело пало само собой: русские не знают, как приняться за такое сложное и трудное дело». Остерман в ответ утешал его так: «Между нами, я вам скажу всю правду, — у нас здесь нет ни одного человека, который бы понимал торговое дело, но я могу вам сказать наверное, что царское величество занимается теперь этим делом».

Вот так, царь Петр: коли тебе нужно, сам и торгуй.

Неотложного царского вмешательства требовала и Церковь, ибо двадцатилетнее пустование патриаршего престола и полное расстройство церковных дел грозили уничтожить на Руси остатки благочестия. Глядя на растущее церковное нестроение, местоблюститель патриаршего престола митрополит Стефан приходил в отчаяние и страх и докучал царю просьбами позволить ему сложить непосильную ношу и удалиться в монастырь великих грехов его ради.

И было от чего схватиться за голову. Великое сокрушение охватывало всех, кто непредвзятым оком оглядывал безрадостную картину церковной жизни. Высшая иерархия еще обладала властью, но уже не имела авторитета и скрывала свое духовное бессилие, окружая себя внешним почетом и блеском и отгораживаясь от прочего духовенства и простых людей надменным высокомерием. Редкие из иерархов оказывались на высоте своего служения рядом с Воронежским митрополитом Митрофанием, Ростовским митрополитом Дмитрием



или Новгородским митрополитом Иовом. Очень и очень многие архиереи ревновали о «вельми жестокой славе» и требовали себе чести «равной царской» — заставляли водить себя под руки и шествовали по улице не иначе как под звон колоколов. Просителей, в том числе и тех, которые явились для поставления в священники, такие архиереи не пускали даже в сени и заставляли неделями, в жару и стужу, околачиваться на крыльце. Подручная архиерейская братия — «лакомые скотины» до подарков и подношений — занималась наглым вымогательством. Священников, пришедших искать архиерейского суда, простые сторожа не пускали на порог, не вытребовав у них гостинца. Архиерейскому дьяку нужно было дать рублей пять или шесть, да столько же раздать его людям — кому по полтине, кому и больше, а затем в почет ему поднести гостинцев: меду, яблок, пирогов, рыбы, да дьяк еще посмотрит, чтобы рыба живая была; к дьяковой жене следовало подойти с более деликатными подношениями — несли стерве мыло грецкое и ягоды в сахаре. А не дашь — не только ничего не достигнешь, да еще и заплатишься: дьяк человек сильный, так подведет, что потом и костей не соберешь.

Дошло до того, что священники считали для себя недостижимой честью, которую «страшно восхитить по собственному почину», — подойти в церкви к архиерейскому благословению! А как же не страшно, если архиереи бранили священников в церкви самыми поносными словами и в гневе могли зашибить неугодившего, — и то еще хорошо, ведь дело могло кончиться плетью, цепями и колодками. Жесток и страшен архиерейский суд!

Ничего отрадного в смысле высоты жития не являло и забитое, напуганное и необразованное низшее духовенство. Безместные священники сидели кучками в Москве у Спасских ворот и на Варварке, «безчинства чинили всякие, меж собой бранились и укоризны чинили скарედные и смехотворные, а иные меж себя играли и на кулачках бились». Многим безграмотным искателям священнического чина взяточничество архиерейской челяди было даже на руку: даст такой ставленник кому следует то, что следует, выучится с голосу двум-трем псалмам, и, когда архиерей заставит его прочесть что-нибудь, услужливая рука архиерейского подручного раскроет перед ним Псалтирь на нужном месте, и он, как по писаному, отбарабанит затверженный псалом. И архиерей со спокойной душой посвятит



невежду, который «и скота пасти не умеет», яко «достойно и праведно разумеющего святыя книги честь».

А приедет такой поп на приход — и за многие годы ни одной литургии не отслужит. Зато согласится прочесть молитвы в шапку, принесенную заботливым прихожанином от своего домочадца, не могущего пойти в церковь; а тот и нахлобучит дома эту шапку по самые уши на темное гуменцо, заботливо выстриженное для лучшего проникновения благодати иерейской молитвы. Отслужит такой священник и молебен под дубом, чтобы потом раздать народу ветви и листья как освященные.

Если посмотришь на платье такого батюшки, то и не разберешь — не то поп, не то волхв, не то чучело огородное: ходит в «гнусных многошвейных одеждах», в белых некрашенных сукнах, с узкими рукавами и в лаптях. Иной и возложит на себя церковное облачение, а на ногах лапти в грязи обваленные, а кафтан нижний «весь гнусен». Приходилось Петру издавать духовные регламенты, в которых епископам предписывалось смотреть, чтобы священнослужители хранили на себе благообразие, одежду бы имели хоть и убогую, но чистую и единой черной, а не иной краски, не ходили бы простовласы, не ложились бы спать по улицам, не пили бы по кабакам, «ибо такие неблагообразия показывают их быти ярыжными»...

И если бы дело было только в нечистоплотности и невежественности! Но поведение духовных пастырей вполне соответствовало их скудному нательному и умственному добришку. В духовенстве особенно укоренилась «сатанинская злоба безмерного хмельного упивания» с той хвастливой «силой и храбростью к питию», которая составляет последнюю душевную отраду присяжного «питуха» из царева кабака. Драки в алтаре из-за молебных денег, побиеание домашних, подлоги и плутовство были обычным явлением в священнической среде. В Петербурге один священник пришел в церковь, увидел, что в алтаре «свечи зажжены не по уставу», и, позвав в алтарь виновного в этом упущении дьячка, стал бить его посохом. Другой священник избил дьякона, третий прихожанку, а четвертого самого так хватил по голове деревянным запором пономарь, что тот упал замертво. В Москве, в Успенском соборе, дьяконы во время богослужения кидали воском в служащих обедню священников! Принимали священнический сан не для Иисуса, а для хлеба куса. В 1719 году в Сенате рассматривалось несколько дел о священниках и дья-



конах, промышлявших разбоем. В том же году торопецкий благочинный собирал деньги со своих подчиненных попов будто бы на образ, который надо поднести государю при его проезде; однако собранные деньги остались в кармане благочинного. Настоятель петербургского Троицкого собора однажды усмотрел на мосту самостоятельно шествовавшего гуся, погнался за ним, да, на беду, все это увидел хозяин гуся, поднял шум и ославил отца настоятеля перед целым светом.

Еще непригляднее выглядело черное духовенство. Давно миновали на Руси те времена, когда множество людей шли в монастырь не для покоя телесного, а на духовный подвиг, искупать грехи мира сего. Теперь в обители стекался всякий сброд, ищущий дарового хлеба и привольной жизни. Обездоленные природой и истрепавшие в лохмотья свою совесть, они черным клубком, как могильной насыпью, прикрывали невзрачную и постыдную летопись своей жизни, читавшуюся на их узких лбах и испитых лицах. Богослужение, молитва, послушание, подвиги и воздержание в монастырях уступили место пьянству, безначалию, разнузданности, алчности. Забыв свои обязанности и обеты, или, скорее, по невежеству и не зная их, монахи в бесстрашии пьянствовали, проводили жизнь в бесчинстве и своеволии, «беспутно волочились», шлялись по кабакам, производили «многую вражду и мятеж». Ростовский преосвященный Георгий Дашков в отчаянии писал царю, что в его епархии «чернецы спились и заворовались». В погоне за наживой монахи не гнушались ничем: венчали браки, чего им нельзя делать по уставу, давали деньги в рост под лихвенные проценты, расхищали монастырскую казну. Архимандриты ссорились с братией и пытали заподозренных в краже служек, забивая им под ногти деревянные спицы.

Куда только девалась исконная приверженность русских людей к древнему благочестию, их готовность умереть за единую букву в слове святых отцов? Паства показывала себя достойной своих пастырей. Муж, желавший избавиться от жены, призывал в дом «неведомого монаха», и тот за добрую мзду постригал неугодную супругу в монахини, не спрашивая ее согласия. Помещик, разъярившись, бил и увечил пришедшего к нему с требой священника, причем «Святые Тайны розлил из потира и топтал ногами». На Москве многие старики у отцов духовных



на исповеди не бывали лет по шестьдесят, «и не ради раскольников, но ради непонуждения пресвитерского». Русский человек, по замечанию Ключевского, словно отбывал свою веру как церковную повинность, наложенную на него ради спасения чьей-то души, только не его собственной, спасти которую он не научился, да и не желал: «Как ни молись, а все чертям достанется». Суеверие — «бабье богословие» — заменяло религиозность верой в сон и чох, во всевозможные заклинания и чудеса. Архидиаконы при строительстве нового храма не стеснялись отдавать распоряжения «приискать явления икон», чтобы затем объявить такую икону чудотворной и тем привлечь богомольцев.

«Окаянное наше время! — писал митрополит Ростовский Дмитрий. — Окаянное время, в которое так пренебрежено сияние слова Божия! И не знаю, кого прежде надобно винить, сеятелей или землю, священников или сердца человеческие, или тех и других вместе? Сеятель не сеет, а земля не принимает; иереи небрегут, а люди заблуждаются; иереи не учат, а люди невежествуют; иереи слова Божия не проповедают, а люди не слушают и слушать не хотят. С обеих сторон худо: иереи глупы, а люди неразумны. Иерейские жены и дети многие никогда не причащаются; иерейские сыновья приходят ставиться на отцовские места: мы их спрашиваем, давно ли причащались? А они отвечают, что и не помнят, когда причащались. О, окайные иереи, не радеющие о доме своем! Как могут радеть о святой Церкви люди, домашних своих ко святому причащению не приводящие...»

Петр не был ни ругателем Церкви, ни особенно набожным человеком, — в общем, «ни холоден, ни горяч». Как положено, знал круг церковной службы, любил попеть на клиросе, отхватывать во всю глотку «Апостол», позвонить на Пасхе в колокола, отметить викторию торжественным молебным и многодневным церковным звоном; в иные минуты он искренне призывал имя Божие и, несмотря на непристойные пародии церковного чина, или, скорее, не любимой им церковной иерархии, при виде церковного нестроения, по его собственным словам, «на совести несуетный имел страх, да не будет безответен и неблагодарен Вышнему аще пренебрежет исправление духовного чина». Правда, церковные вопросы не были для Петра, как для его отца, вопросами «страшной святости», и он смело брался за них, всегда имея целью разрешить две задачи:



не дать вырасти новому «монашескому царю», русскому папе, и подчинить Церковь царской власти. Петра чрезвычайно привлекал опыт Лютера, и в конце концов, незадолго до окончания войны со Швецией, он решился провести Реформацию в русской церкви. Целительного воздействия на запутавшиеся церковные дела он и на сей раз ожидал от коллегий, вознамерившись учредить особую духовную коллегию — Синод.

Домашним, ручным Лютером русской Реформации Петр сделал Феофана Прокоповича, чей памятный панегирик полтавской виктории царь не забыл. Этот некогда простой ученый монах, знакомый с трудами Эразма Роттердамского, Лютера, Декарта, Бэкона, Макиавелли, Гоббса, Локка, а ныне епископ Псковский, горячо выступал против светских притязаний церкви не по одной царской воле. В юности, будучи униатом, он три года прожил в Италии и, несмотря на то что обучался в иезуитском колледже, вернулся в Россию православным и страстным порицателем папства. Человек вполне светский по направлению ума и темпераменту, Феофан Прокопович искренне восхищался Петром и — Бог ему судья — восторженно славил все без разбору: и личное мужество и самоотверженность царя, и труды по устройству флота, и новую столицу, и коллегии, и фискалов, а также фабрики, заводы, монетный двор, аптеки, шелковые и суконные мануфактуры, бумагопрядильни, верфи, указы о ношении иноземной одежды, брадобритие, табакокурение, новые заграничные обычаи, даже маскарады и ассамблеи. Иностранцы отмечали в псковском епископе «безмерную преданность благу страны, даже в ущерб интересам церкви». Феофан Прокопович не уставал напоминать в проповедях: «Многие полагают, что не все люди обязаны повиноваться государственной власти и некоторые исключаются, а именно священство и монашество. Но это мнение — терн, или, лучше сказать, жало, змеиное жало, папский дух, неведомо как достигающий нас и касающийся нас. Священство есть особое сословие в государстве, а не особое государство».

Ему-то и поручил Петр составить регламент нового управления Церковью. Царь очень торопил псковского архиерея и все спрашивал: «Скоро ли поспеет ваш патриарх?» — «Да уж рясу дошиваю!» — отвечал в тон царю Феофан. «Добро, а у меня шапка для него готова!» — замечал Петр.



25 января 1721 года Петр обнародовал манифест об образовании святейшего Синода. В опубликованном чуть позже регламенте духовной коллегии Петр был вполне откровенен насчет причин, заставивших его предпочесть синодальное управление патриаршему: «От соборного правления можно не опасаться Отечеству мятежей и смущения, каковые происходят от единого собственного правителя духовного». Перечислив примеры того, к чему приводило властолюбие духовенства в Византии и других странах, царь устами Феофана Прокоповича заканчивал: «Когда же народ увидит, что соборное правительство установлено монаршим указом и сенатским приговором, то пребудет в кротости и потеряет надежду на помощь духовного чина в бунтах». По существу, Синод мыслился Петром в качестве особой духовной полиции. Синодальными указами на священников были наложены тяжкие обязанности, не свойственные их сану, — они не только должны были славословить и превозносить все реформы, но и помогать правительству в сыске и ловле тех, кто враждебно относился к нововведениям. Наиболее вопиющим было предписание о нарушении тайны исповеди: услышав от исповедуемого о совершении им государственного преступления, его причастности к бунту или злоумышлению на жизнь государя, духовник обязан был донести о таком человеке светскому начальству. Кроме того, священнику вменялось в обязанность выявлять и раскольников.

Впрочем, к старообрядцам Петр относился терпимо. Говорят, купцы из них честны и прилежны, а раз так, пусть веруют, во что хотят. Мучениками за глупость быть — ни они этой чести не достойны, ни государство пользы иметь не будет. Открытые гонения на старообрядцев прекратились. Петр лишь обложил их двойными казенными поборами и указом 1722 года вырядил в серые кафтаны с высоким клееным «козырем» красного цвета. Однако, призывая архиереев словесно увещевать коснеющих в расколе, царь иной раз все же посылал на помощь проповедникам для вящего убеждения роту-другую солдат.

Среди староверов все шире распространялась весть, что далеко на востоке, где солнце восходит и «небо прилежит к земле» и где обитают рахманы-брахманы, коим известны все мирские дела, о которых им поведывают ангелы, пребывающие всегда с ними, лежит на море-окияне, на семидесяти островах чудесная страна



Беловодье, или Опоньское царство; и был там Марко, инок Топозерского монастыря, и нашел 170 церквей «асирского языка» и 40 русских, построенных бежавшими из Соловецкого монастыря от царской расправы старцами. И вслед за счастливым Марко на поиски Беловодья, в сибирские пустыни, устремлялись тысячи охотников увидеть своими глазами всю древнюю красоту церковную.

Из царского кабинета, сенатских, коллегияльных и синодальных канцелярий сыпались законы, указы, письма, распоряжения... Самодержавная воля Петра тщила сделать для народного блага то, чего не в силах был сделать сам народ, и вместе с тем, отягощая народ целой ордой новых баскаков и темников — всеми этими комиссарами, мейстерами, рихтерами, ратами, мистрами, — царь вытягивал из него силы и средства для борьбы с самим же народом.

Усталый царь-вятель жаловался любимому токарю Нартову: «Кости я точу долотом изрядно, а вот упрямец обточить дубинкой не могу». Нартов в ответ жалел царя-чернорабочего: «Ты, государь, в гору сам-десять тянешь, а под гору — миллионы: как же дело споро будет?» И Петр, вздыхая, думал: может, преемники, потомки достроят начатую им храмину? А не достроят, так хоть подумают иногда: пусть и немного есть хорошего в России, а уж что есть — все от царя Петра.

С тех пор как в 1712 году Петербург стал второй столицей России, Петр жил уже не в одноэтажном домике, а в двух дворцах попеременно — Летнем и Зимнем. Летний дворец был построен при впадении в Неву Фонтанки и состоял из трех отдельных, в разное время застроенных частей; главную часть здания затенял высокий дубовый лес. Широкие окна дворца выходили с двух сторон на воду, высокая четырехскатная крыша была увенчана позолоченным флюгером — фигурой святого Георгия, поражающего змия. Четырнадцать светлых, полных воздуха комнат дворца были поделены поровну между Петром и Екатериной. Царь вообще не терпел пышных просторных комнат, но тут ему пришлось смириться и допустить высокие потолки; тем не менее в своих комнатах он распорядился сделать второй потолок — пониже.



Покои царя находились на первом этаже и выглядели довольно скромно. Стены кабинета и приемной были облицованы синими голландскими изразцами с картинками — корабликом, морской или пасторальной сценкой; потолок в кабинете был расписан херувимами, празднующими триумф России. На письменном столе стояли резные корабельные часы и медный компас, гравированный серебром, — подарок Георга I. В небольшой спальне, под балдахином из красного бархата, стояла кровать, на которой царь не мог вытянуться во весь рост (в то время люди спали полусидя, подложив под спину и голову подушки). Рядом с жилыми комнатами находилась токарня, где стояли станки и деревянная рама, заключавшая в себе особый прибор, изготовленный по заказу Петра в Дрездене: один большой циферблат показывал время, а два других, соединенные стержнями с флюгером на крыше, — направление и силу ветра.

Покои Екатерины были пышнее: в тронном, танцевальном залах и других помещениях были настланы паркетные полы; стены, обитые китайскими шелковыми обоями, затканными золотой и серебряной нитью, были украшены фламандскими и немецкими гобеленами; потолки были расписаны или инкрустированы слоновой костью и перламутром; повсюду стояли и висели английские и венецианские зеркала.

Зимний дворец — деревянный, двухэтажный и также трехчастный (к главному зданию примыкали два крыла) — стоял стена о стену с каким-то частным домом и во всем походил на прочие дома поблизости, выделяясь лишь воротами из каменных столбов с венцом наверху и украшением в виде корабельного носа. Его тесные комнаты с низкими потолками были вполне во вкусе Петра.

День царя начинался рано. Даже зимой, когда в Петербурге светало около девяти часов, в царской спальне в пятом часу утра уже горел свет: проснувшийся Петр с полчаса расхаживал по комнате для разминки. Затем, как был — в ночном колпаке и поношенном китайчатом халате, он шел в кабинет, где секретарь Макаров читал ему дела. Затем царь одевался. Его повседневным платьем был старый кафтан, карманы которого были набиты государственными бумагами, на ногах он носил чулки, заштопанные женой или дочерьми, и стоптанные башмаки; голову Петр покрывал лишь в редких случаях — в холода надевал парик из собственных волос или черную Преобра-



женскую треуголку. Сшитые для него за границей нарядные долгополые кафтаны с широкими обшлагами и отворотами — голубой с серебряным шитьем и красный с золотым — большую часть года пылились в шкафу. Наскоро перекусив, около шести часов царь отправлялся в Сенат, Адмиралтейство, на верфь или на строительные работы. Чаще всего он выезжал в одноколке, с денщиком на запятках; царский экипаж — нечто вроде кресла на колесах — выглядел настолько убого, что не всякий купец решился бы выехать в нем.

Во время выездов Петр любовался своим парадизом. Сердцем города была примыкавшая к набережной Троицкая площадь. Ее окаймлял ряд крупных построек — деревянный собор Святой Троицы, куда Петр приходил помолиться, отпраздновать победу или оплакать умерших детей, здания государственной канцелярии, типографии, госпиталь, новые каменные дома канцлера Головкина, вице-канцлера Шафирова, генерала князя Ивана Бутурлина, сибирского губернатора князя Матвея Гагарина и других вельмож. Из-за болотистой почвы многие дома тряслись, когда мимо них проезжала карета или нагруженная телега. Рядом находилось питейное заведение «Четыре фрегата», завсегдатаями которого были высшие государственные чины, иностранные послы, богатые купцы; Петр и сам нередко заходил сюда, чтобы выкурить трубку за стаканом пива или чего-нибудь покрепче.

Недалеко от Троицкой площади располагался Гостиный Двор с его многочисленными лавками. Здесь шла оживленная торговля отечественными и привозными товарами, а на задворках процветала барахолка, где успешно промышляли множество воров: гренадер, возвращавшийся в казарму без парика, и знатная дама, оставшаяся без шляпы или сумочки, были обычным зрелищем.

На Васильевском острове, большая часть которого была подарена царем Меншикову, высился каменный дворец, покрытый железными, выкрашенными в красный цвет листами и защищенный от северного ветра обширным садом, окруженным решеткой, — обиталище петербургского губернатора. Это был самый большой дом в Петербурге. Изящную мебель, старинное серебро и другую утварь и украшения Данилыч вывез из ограбленной Польши. Петр распоряжался губернаторским дворцом как своим (как когда-то Лефортовым), устраивая в нем



торжественные приемы, пышные увеселения, свадьбы, балы, на которые приезжал в богатом экипаже, взятом напрокат у Ягужинского. Остальная часть острова пустовала — мелколесье, кустарник и перелески чередовались с лугами, на которых паслись лошади и коровы, да там и сям торчало несколько изъеденных ветрами избенок.

Мостов между северной и южной частями Петербурга долгое время не строили по той причине, что Петр хотел приучить петербуржцев к мореходству и настаивал, чтобы все переправлялись через Неву на лодках, и притом без весел — под парусом; беднякам дозволялось пользоваться двадцатью казенными шлюпками. Однако перевозчики, набранные в основном из крестьян, плохо справлялись с порывами ветра и волнами. Несчастные случаи следовали один за другим. После того как в Неве утонули польский посол, русский генерал и один из лейб-медиков, Петр скрепя сердце разрешил лодочникам пользоваться веслами. Для безопасности весенней переправы по тающему льду Петр изобрел такой способ: в эту пору он ездил на другой берег в четырехвесельной шлюпке, поставленной на сани.

Улицы Петербурга содержались в образцовой чистоте. Каждый домовладелец обязан был против своего двора рано утром или поздно вечером, когда замирало уличное движение, сметать всякий сор, «чтобы никакого скаредства и мертвечины не валялось», а камни, которые выламывались в продолжение дня, поправлять. С 1721 года пять часов в сутки улицы освещались фонарями, заправленными конопляным маслом. Петр строго следил за благоустройством парадиза и не спускал ни малейшей провинности никому, даже расторопному генерал-полицмейстеру Девиеру, которого вообще очень ценил. Однажды царь вместе с Девиером подъехал на одноколке к мосту на Мойке и обнаружил, что несколько досок выломались, образовав дыру. Петр послал денщика поправить доски, и, пока тот занимался этим делом, царь гладил своей дубинкой генерал-полицмейстера, настоятельно советуя ему лично заботиться о содержании мостов в порядке. Когда же денщик исправил повреждение, царь прыгнул в одноколку и как ни в чем не бывало сказал Девиеру: «Садись, братец!» Они покатали дальше, возобновив прерванный разговор.



Петр терпеть не мог, если его останавливали на улице старинным земным поклоном. Отколотив такого почитателя дубинкой, царь говорил: «Эх, братец, у тебя свое дело, у меня свое, а кланяться до земли подобает только Богу. Ступай!» Зато и не отдавший вовремя почести государю снятием шляпы падал замертво, сраженный ударом в лоб смертоносной дубинки.

Вернувшись во дворец часам к одиннадцати, Петр до обеда работал в токарне. Обед подавали в час. Петр обладал каким-то несокрушимым, подлинно матросским аппетитом, подогреваемым постоянным приемом спиртного. Он мог есть всегда и всюду, и в его экипаже всегда была наготове провизия, в основном холодные мясные закуски. Дома, вдвоем с Екатериной, Петр обедал запросто, часто являясь за стол в одной рубашке. Любимыми блюдами царя были щи, каша, жаркое, студень, холодное мясо с солеными огурцами или лимонами, миноги, ветчина, овощи; на десерт подавали фрукты и сыр: особенно нравился Петру острый лимбургский. Царь считал, что рыба ему вредна, и в посты обходился хлебом, фруктами и овощами. Перед обедом он выпивал чарку анисовой водки, кушанья запивал квасом и венгерским. Дома ли, в гостях ли, Петр всюду пользовался своим столовым прибором — деревянной ложкой с черенком из слоновой кости и металлическими ножом и вилкой с зелеными костяными ручками.

Блюда для царского стола готовил повар Иоганн Фельтен, саксонец, которого Петр переманил у датского посланника. Царь ценил его за мастерство и добродушный нрав, но, признавался Фельтен, «трость его частенько плясала у меня на спине». Однажды, не доев кусок лимбургского сыра, Петр замерил остаток и отдал Фельтену. На другой день он обнаружил, что кусок стал меньше. Основательно отходяв прожорливого повара, Петр спокойно доел сыр и запил вином.

За семейным обедом императорской чете прислуживал один денщик. Изредка Петр приглашал гостей, министров и генералов, но никогда не больше шестнадцати человек. Гости царь не считал — просто приборов на стол подавалось столько и ни одним больше. Усаживаясь, Петр приглашал остальных занимать места без чинов, а тем, кому не хватило прибора, советовал ехать домой и обедать с женой. Званный обед проходил под музыку военного оркестра, состоявшего из труб, гобоев, французских рожков, барабанов и фаготов. В этом случае трапезу



обслуживали шесть денщиков и двое пажей. Кроме того, гостей забавляли карлики и шуты. Петру очень хотелось иметь великана, но всех великанов в Европе скупил Фридрих Вильгельм для своих «потсдамских гренадеров»; царю достался только один, Никола Бурже, отысканный им в Кале, — во время обеда гигант, на голову выше Петра, стоял за царским креслом. Когда подавали вино и десерт, Петр отсылал прислугу, оправдываясь перед гостями тем, что «лакеи при столе смотрят всякому в рот, подслушивают все, что за столом говорится, понимают криво, а после того так же криво пересказывают».

После обеда, выкурив трубку за чтением голландских газет, Петр, по русскому обычаю, ложился вздремнуть часа два. Проснувшись, он снова занимался делами, а вечером ехал куда-нибудь веселиться. Будучи скуповат и не любя принимать гостей у себя, царь понуждал членов компании вести роскошную, хлебосольную жизнь. В первую очередь это, конечно, касалось Меншикова, которого, впрочем, не нужно было долго уговаривать. Порой, проезжая мимо губернаторского дворца и глядя на его освещенные окна, по которым скользили тени танцующих пар, Петр одобрительно усмехался: «Веселится Данилыч!» Граф Апраксин тоже по уши втянулся в это занятие, так что его дом ежедневно был открыт для гостей, званых и незваных. Без большого стакана водки к столу никого не подпускали; заартачившегося гостя хозяин принимался уговаривать сам и, когда ему удавалось влить водку в упрямец, шумно радовался и целовался с ним. Генерал-прокурор Ягужинский старался ввести у себя тон французского двора и был мастер задавать балы, на которых всем было весело и приятно. Князь-кесарь Ромодановский, напротив, хранил заветы старого хлебосольства, радушного, но порой тяжелого и неприятного. Гостей у него встречал ручной медведь, умевший ходить на задних лапах, держа при этом в передних поднос с большим стаканом водки; мало у кого доставало духа обидеть мишку, отказавшись от угощения, ибо в этом случае медведь начинал угрожающе рычать. Зато не терпел делать у себя приемы скряга канцлер Головкин. В обширной приемной его дома красовался на подставке, как украшение, пышный парик, который хозяин, по утверждению злых языков, никогда не надевал, боясь износить дорогую вещь.

Помимо членов компании Петр охотно навещал всякого, кому было угодно позвать его в гости, — на свадьбу, крестины или



похороны. Царь любил попить на свадьбе в качестве посаженного отца. Множество раз был он и крестным отцом и держал над купелью детей купцов, мещан, солдат и матросов. Но на щедрый подарок хозяевам рассчитывать не приходилось: невеста или мать обычно получала от царя отеческий поцелуй, а новорожденный — целковый. Если Петру выпадало быть маршалом, то есть распорядителем пира, он строго выполнял свои обязанности, а покончив с ними, ставил в угол маршальский жезл, присаживался за стол и принимался за угощение. Приглашая на дом царя, следовало соблюдать осмотрительность лишь в одном отношении: Петр страшно боялся тараканов и не мог без омерзения даже видеть их. Случись во время пирушки откуда-нибудь взяться ненавистному насекомому, Петр с диким криком вскакивал с места, награждал хозяина пощечиной и выбегал из дому.

Летом Петр старался перенести увеселения на воздух — в Летний сад, занимавший тогда все пространство между Мойкой и Фонтанкой от Невы до Невского проспекта. Его длинные аллеи были усажены липами, дубами, плодовыми деревьями, душистыми (что было непременным требованием царя) цветами; в бассейне одного из мраморных фонтанов сидел тюлень, в птичнике обитали орлы, черные аисты и другие редкие птицы. Имелся здесь искусственный грот, украшенный морскими раковинами, перед которым стояли свинцовые фигуры из Эзоповых басен, с письменными объяснениями за стеклами в рамках. Тут же обыкновенно ставились и столы с холодными закусками и сладостями; к вечеру появлялось в изобилии вино. Петр сидел на простой скамейке и как радушный хозяин усердно потчевал гостей. Наконец он посылал запереть ворота — и это служило для знающих людей сигналом, что пора убираться, ибо вскоре по аллеям широкой волной разносился запах сивухи: рослые Преображенские гренадеры вносили ушаты простой хлебной водки, а шедшие за ними майоры предлагали всем, не исключая и дам, выпить здоровенный ковш за здоровье их полковника Петра Михайлова. Упорствующих поили насильно, предварительно окатив их сивухой с головы до ног. В саду начиналось смятение, всякий спасался как мог. Только духовные чины не отвращали своих лиц от горькой чаши и весело продолжали сидеть за своими столиками, благоутробно отрывивая редькой и луком.



Вообще отдых для царя был делом нелегким. «Что вы делаете дома? — иногда интересовался он у других. — Я не знаю, как без дела дома быть». Проводить время сидя он мог только за шахматами и всегда носил с собой кожаную складную шахматную доску. В карты Петр играл только затем, чтобы не выглядеть чужаком в компании боцманов и матросов, когда ему случалось зайти в портовый кабак. Но и тут его обычная бережливость ставила прочную преграду азарту: проигравший больше одного рубля выбывал из игры.

По-настоящему он отдыхал с топором в руках на Адмиралтейской верфи, вытачивая что-нибудь из дерева или кости в своей токарной мастерской или выковывая молотом железную полосу возле кузнечного горна. И конечно, во время водных прогулок по Неве, сопровождавшихся грандиозными попойками. Ганноверский посланник Фридрих Вебер свидетельствует, что в течение одной такой двухдневной прогулки он вместе с царем и всей компанией трижды был мертвецки пьян. Зато, становясь за руль, Петр забывал о всех тревогах. На обратном пути из Кронштадта, войдя в окруженное лесом устье Невы и заведя над верхушками деревьев крытые медью купола и островерхие крыши домов, царь чувствовал себя счастливейшим человеком и возвращался в парадиз с облегченным сердцем, готовый к новым трудам.

Зимняя стужа никак не влияла на подвижный образ жизни царя. В дни, когда английский посланник Джеффрис сообщал в Лондон, что «все вокруг покрыто снегом и льдом и нельзя высунуть нос за дверь, не опасаясь отморозить его», Петр с женой и двором катался на санках с ледяных горок или гонял по льду под парусами на лодках, поставленных на полозья.

Веселье, как и все, к чему прикасался Петр, в конце концов тоже приняло регламентированный характер. В 1718 году появился указ об ассамблеях, в котором можно было прочесть, что «ассамблея — слово французское, которое на русском языке одним словом выразить невозможно; обстоятельно сказать, вольное в котором доме собрание или съезд делается и не только для забавы, но и для дела, ибо тут можно друг друга видеть и о всякой нужде переговорить, также слышать, что где делается, притом же и забава». Ассамблеи распределялись между чиновными лицами без соблюдения какой-либо очереди. Первую



ассамблею назначил сам Петр, последующим назначением ведал генерал-полищмейстер Девиер.

Главам семей в сопровождении жен и дочерей полагалось явиться на ассамблею к трем часам пополудни, в богатейших нарядах. К пяти часам приезжали Петр и Екатерина с дочерьми — их уборы поражали великолепием: на царевнах были надеты платья из лучших материй, обшитые золотом и серебром, головные уборы были залиты бриллиантами. Поначалу русские красавицы, чувствовавшие себя совершенно свободно в платьях, сшитых по последней европейской моде, поражали иностранцев тем, что чернили зубы — они еще не избавились от представления своих матерей и бабушек, будто белые зубы пристали лишь арапам и обезьянам (этот нелепый обычай мало-помалу исчез к 1721 году).



Петр I. Восковая раскрашенная статуя работы К. Растрелли

Главным увеселением на ассамблеях полагались танцы. Собрания открывались мерными, церемониальными танцами:



менуэтом, во время которого каждая пара по очереди делала реверанс государю и государыне, и польским, заключавшимся в том, что танцующие двигались мелкими размеренными па, стараясь придать своим фигурам изящные позы; дамы при этом, грациозно опустив руки, слегка приподымали платье. Затем маршал, ударив жезлом в пол, провозглашал, что теперь каждый может танцевать как и что ему вздумается, и танцующие устремлялись по кругу в веселом англесе, аллеманде или контрадансе. Первым танцором России считался Ягужинский, неистощимый на выдумки. Однажды, наскучив однообразными фигурами какого-то танца, он заставил каждую пару выдумывать по очереди что-нибудь, а все прочие должны были повторять движения. Он же первым и поплатился за нововведение: дама, с которой он был в паре, не найдя ничего лучшего, поцеловала его и затем стащила ему на нос парик.

Петр, взявшись распоряжаться танцами, делал это с присущей ему энергией и иногда пускался в тяжелые, неуклюжие шутки: ставил в ряды танцующих самых дряхлых стариков, дав им в партнерши молоденьких девушек, и сам становился в первой паре. Царь выделял такие «каприоли», которые, по мнению иностранцев, составили бы честь лучшим балетмейстерам Европы, между тем как старые танцоры, обязанные проделывать то же самое, едва передвигали ноги. Однако Петр не отпускал их и вертелся между ними без устали. Старики путались, задыхались, кряхтели, в изнеможении приседали на корточки, валились на пол, и тогда царь вливал в них штрафной кубок венгерского...

Екатерина танцевала так же ловко и проворно, как ее супруг. В паре с Петром она успевала сделать три круга, между тем как остальные только заканчивали первый. Императрицу и ее дочерей имел право пригласить любой кавалер. Но с другими Екатерина танцевала небрежно, не подпрыгивала, не вертелась, а ходила обыкновенным шагом. Анна и Елизавета тоже были отменными плясуньями.

Когда Петр находился в хорошем расположении духа, то не было человека веселее, добродушнее и разговорчивее его, он шутил, смеялся и вел себя как ребенок. Завидев со своего места какого-нибудь неловкого танцора, который усердно, но без толку крутил руками и ногами, царь начинал потихоньку передразнивать его. А уж если общий смех раззадоривал



Петра, то он вскакивал и проделывал карикатурные коленца на глазах у всех. Вступить в беседу с царем можно было запросто. Но собеседника, забывшего за простотой царских манер о том, с кем он разговаривает, Петр одергивал, и иногда очень неприятным образом. Так, однажды некий иностранный полковник похвалялся своими познаниями в артиллерийском деле, сильно завирая, но при этом не давая царю вставить слово. Петр слушал, слушал его, потом вдруг плюнул ему в лицо, молча встал и отошел к другим гостям. В другой раз, приехав на ассамблею к Данилычу сильно не в духе, он, вместо того чтобы танцевать, начал ходить по комнате, и так сильно тряс головой и подергивал плечами, что нагнал на присутствовавших страх и трепет. Все облегченно вздохнули, когда он уехал в десять часов, ни с кем не простясь.

После танцев садились ужинать. Тут уж французская ассамблея превращалась в привычную русскую попойку. Мужчины курили крепкий табак, играли в шашки, напивались допьяна, ссорились, бранились; зала наполнялась табачным смрадом, стукотней, шумом и криком. Все продолжали пить до последней возможности. В одном углу слышны были ссора и брань, в другом — чоканье бокалов за братство и дружбу. Вот уже адмирал Апраксин, по обыкновению, до того натянулся, что плачет, как ребенок; светлейший князь Меншиков падает под стол, а его княгинюшка с помощью нюхательных спиртов пытается привести его в чувство; князь Валахский схватился в рукопашной схватке с генерал-полицмейстером Девиером; барон Белов всех бранит, со всеми ссорится и всех вызывает на дуэль; генерал-майор Штенфлихт, обезумев от вина, выхватывает кортик — и прислуга, набросившись на него, волочет к дверям... Кто-то лезет ко всем с пьяными поцелуями, а под столами валяются те, кто не устоял против батарей Ивашки Хмельницкого... Дамы смотрят на все это и принужденно хохочут...

В те редкие часы, когда Петру хотелось побыть одному, он уезжал в Петергоф и уединялся в своем любимом Монплезире — одноэтажном доме из красного кирпича, построенном прямо на берегу моря. Высокие стеклянные двери спальни выходили прямо на залив. Здесь, завалившись на кровать, Петр подолгу смотрел на белесую соленую пустыню воды, слушая тоскливо-гортанные крики чаек и шум волн, накатывающихся на прибрежный песок... Как немислимо-просто дарит море



покой и прощение!.. Уплыть бы от всего в этот простор и там, в грозовой дали, слушать самое сладкое в мире пение — прощальное пение земли...

В июне 1723 года Петр вместе со всем двором уехал в Ревель. Там по повелению царя был воздвигнут изысканный розовый дворец для Екатерины, рядом с которым примостился скромный трехкомнатный домик для него самого. Дворец Екатерины был окружен просторным парком, украшенным прудами, фонтанами и статуями, но, отправившись туда гулять, Петр вскоре с изумлением обнаружил, что гуляет в одиночестве: выяснилось, что часовые у главных ворот получили приказ никого не впускать. Петр тут же отменил этот приказ, заявив, что никогда не стал бы разбивать такой большой сад только для себя и жены. На другой день по городу ходил барабанщик и оповещал жителей, что дворцовый парк открыт для всех желающих.

В следующем месяце царь вышел с флотом в море на маневры и в августе приехал в Кронштадт на церемонию чествования заслуженного ботика, который переименовал в «дедушку русского флота». Петр стоял за рулем, на веслах сидели четыре адмирала. Управляемый царем, ботик прошел между двадцатью двумя линейными кораблями и двумястами галерами, выстроившимися в два ряда. По сигналу царя все суда произвели пушечные залпы. Фарватер затянуло дымом, и над его густой завесой были видны лишь верхушки мачт самых высоких кораблей. Праздничный пир продолжался десять часов кряду, причем Петр объявил бездельниками всех, кто в этот день не напьется пьян. Великие княжны Анна и Елизавета обносили гостей бокалами венгерского. Все изрядно перебрали и от пьяных слез и поцелуев перешли к ссорам и дракам.

Осенью Петр отметил вторую годовщину Ништадтского мира. На многодневном маскараде он рядился то католическим кардиналом, то лютеранским пастором, то матросом, то армейским барабанщиком, демонстрируя свое умение заправски бить в барабан.

Восстанавливать здоровье Петр поехал не за границу, а на недавно открытые в Олонце «железные воды». В восторге



от собственного курорта он утверждал, что олонекская вода лучше любой немецкой. Врачей немало тревожил патриотизм царственного больного, который поутру выпивал по двадцати стаканов минеральной воды, насыщенной солями металлов. Однако Петр почувствовал себя лучше и в скором времени стал проводить дни в кузне, где с удовольствием стучал молотом. Совершал и далекие оздоровительные пешие прогулки с тяжелым ранцем за плечами.

Европа больше не манила к себе Петра. Европейская политика интересовала его теперь в основном в династическом отношении — великие княжны достигли брачного возраста, и Петр вернулся к мысли выдать их замуж если не за самого французского короля, то, на худой конец, за какого-нибудь из принцев французского королевского дома, с тем чтобы затем возвести молодую чету на польский трон. Французский посланник в Петербурге Кампредон поддерживал этот замысел.

Регенту планы царя показались заманчивыми: Польша была полезным союзником в тылу у Австрии. Поскольку кардинал Дюбуа по-прежнему выступал против брака Елизаветы с Людовиком XV на том основании, что отношения между Петром и Екатериной в момент рождения Елизаветы были еще весьма темными, — тем самым ставя под вопрос законность рождения царевны, то регент предложил другую кандидатуру — собственного сына, юного герцога Шартрского. Узнав об этом, Петр расплылся в улыбке и сказал Кампредону: «Я знаю его и ценю высоко».

Однако серьезным препятствием этим планам был польский король Август. Он уже не был ни другом, ни союзником Петра, и все же царь не хотел насильственно свергать пятидесятилетнелетнего короля. Зачем? Август болен; следует пока просто повенчать молодых и ждать, пока польский престол освободится сам собой. Но в Тюильри настаивали на обратном порядке событий: пускай царь вначале добьется избрания герцога Шартрского польским королем, а потом уж состоится венчание. Кардинал Дюбуа спрашивал Кампредона: а что, если Август проживет еще лет пятнадцать? Кампредон уверял, что этого не может быть, — чтобы приблизить конец, польскому королю всего-то нужно завести себе новую, резвую любовницу,



и нет никаких сомнений, что Август так и сделает⁵⁷. Между тем в письмах в Париж французский посланник хвалил достоинства царевны: «Принцесса Елизавета сама по себе особа милая. Ее можно даже назвать красавицей ввиду ее стройного стана, ее цвета лица, глаз и рук. Недостатки, если таковые вообще есть в ней, могут оказаться лишь в воспитании и манерах. Меня уверяли, что она очень умна. Следовательно, если в сказанном отношении найдется какой-нибудь недостаток, его можно будет исправить, назначив к принцессе, если дело сделается, какую-нибудь сведущую и искусную особу».

Но дело не сладилось из-за противодействия кардинала Дюбуа, который в своих дружеских чувствах к Георгу I зашел так далеко, что совершал государственную измену, пересылая в Лондон оригиналы донесений Кампредона, а английский король возвращал их в Париж с собственноручными пометками на полях. Дюбуа затягивал дело, долго не отвечал Кампредону, потом писал ему, что в связи с возникшими у Англии возражениями следует повременить с венчанием... Наконец все решилось само собой. В 1722 году регент умер, Людовик XV, достигший совершеннолетнего возраста, женился на дочери Станислава Понятовского, а герцог Шартрский сочетался браком с немецкой принцессой.

Впрочем, один иностранный принц — герцог Голштинский — был под рукой и готов был жениться на любой из царевен хоть завтра. Но пока шли переговоры с Францией, Петр не спешил обнадежить голштинского жениха, тем более что его положение было весьма неопределенно, так как его владения присвоила Дания. В результате Карл Фридрих играл самую жалкую роль. Царь шутил с ним, поил и спаивал, — и все это с каким-то оттенком пренебрежительного покровительства. Дело о женитьбе ограничивалось раскланиванием с царевнами или этикетным целованием ручек. То вроде мелькнет надежда, что вот-вот объявят о венчании, то вдруг великих княжон увозят куда-то вслед за царем, а за отсутствием Петра на герцога перестают обращать внимание. Карл Фридрих едва имел средства на содержание собственного двора, а тут еще к нему липли пленные шведы, женившиеся на русских и по шведским законам потерявшие право на возвращение в родные края. На дары

⁵⁷ Несмотря на эти предсказания, Август прожил еще десять лет и умер в 1733 г.



Петра особенно рассчитывать не приходилось — они ограничивались красным яичком в Светлое Воскресение или несколькими бутылками вина к обеду, — и за это еще надо было отблагодарить дарителя. А то вдруг царь преподнесет сюрприз: приказ шить костюмы для маскарада на всю свиту или строить подмости для иллюминации, — в награду же герцог получает царскую шуточку или Екатерина поднесет ему бокал венгерского из собственных рук. Карл Фридрих потихоньку спивался и проводил время в самых ничтожных и пустых занятиях — забавлялся с карлами, учреждал на манер всепьянейшего собора «орден виноградной кисти», сочинял устав тост-коллегии с подробным расписанием обедов и ужинов или муштровал свою свиту.

Во внутренних делах Петра очень заботил вопрос о престолонаследии. После смерти Петра Петровича оставался единственный законный наследник — Петр Алексеевич, сын Алексея и Шарлотты. Царь понимал, что приверженцы старины видят в нем свою надежду, и решил лишить их ее. В феврале 1722 года был обнародован «Устав о престолонаследии», в котором Петр вспоминал «авессаломскую злость» царевича Алексея, строго порицал «старый недобрый обычай» — большому сыну наследство давать, и удивлялся, отчего это сей обычай был людьми так затвержен, между тем как, по рассуждению «умных родителей», делались ему частые отмены, что видно и из священной, и из светской истории. Отныне, провозглашал Петр, да будет так: от воли государя зависит определение наследства — кому он захочет, тому и завещает престол.

Вся Россия должна была утвердить присягу, что не отступится от воли государя. За благополучным и изрядным принесением присяги ревностно следил генерал-прокурор Ягужинский. Россия присягнула. Но ни солдаты, ни капитаны, ни страх истязаний не зажали рты тем, которые не считали вслед за царем, будто старые обычаи такие уж недобрые и вредные. В Петербурге, Москве и других местах промеж людьми было такое рассуждение: «Наш император живет неподобно, заставляет нас присягать о наследствии престола всероссийского, а между тем не объявил, кого учинит наследником, — кому присягаем, не знаем! Такая присяга дотоле, пока император жив, и присягаем-то мы ему лукавым сердцем!»

Петр и сам еще не знал, кого назначить наследником. Но чем дольше он размышлял об этом, тем чаще обращался мыслями



к самому дорогому существу — Катериночке. Кому ж еще передать свое дело, как не ей? Не франтиха, умеет быть неприхотливой, не теряет бодрости духа в самых тяжелых обстоятельствах, да и сил у нее побольше, чем у него самого, и главное — вокруг нее легко сплотятся все, кому дорога новая Россия. После персидского похода любовь Петра к жене достигла пределов человеческого обожания, теперь он хотел не повелевать, а подчиняться. В его письмах, которыми он обменивался с Екатериной во время разъездов, уже не было слышно прежнего повелительного тона, напротив, он смиренно просил супругу не досадовать и не гневаться на него. Дело было в том, что пошатнувшееся здоровье Петра не позволяло больше ему исправно выполнять супружеские обязанности: если раньше Екатерина рожала почти ежегодно, то с 1720 года больше не беременела. Но прутский и персидский походы, казалось царю, спаяли их брак сильнее постели...

И вот тут-то он ошибался... Забыл царь Петр, что умные люди говорят: не закладывайся за овин, за мерина да за жену — первый сгорит, второй зашибет, третья согрешит!

В дни, когда Петр хаживал в палаццо к Анне Монс, частенько видел он там красивого мальчика, ее брата Виллима. После разрыва с Монсикой царь перестал благодетельствовать ее родственников, однако и не мешал им пробиваться в люди. Виллим Иванович пошел по военной части. Он показал свою храбрость при Лесной и в Полтаве и был тем офицером, который привез Меншикову согласие Левенгаупта на капитуляцию шведской армии у Переволочны. В 1714 году, получив наследство умершей сестры, он стал добиваться придворного чина. Ему повезло: два года спустя он был принят в «материю ограду» — стал камер-юнкером при дворе Екатерины. Ему было поручено ведать царицыным хозяйством — управлять имениями, принимать челобитные, вести корреспонденцию с иностранными поставщиками товаров, с портными, заведовать казной и бриллиантами. Все это нужно было делать, состоя неотлучно при Екатерине, и Монс сопровождал ее в путешествиях за границу, хлопотал об экипажах и гостиницах, успевая при этом бывать на всех ее обедах, ужинах и ассамблеях. Кроме того, в его обязанности входило развлекать Екатерину во время частых отлучек Петра.



Должность, что ни говори, была хлопотная, зато и доходная. Вскоре Монс зажил на широкую ногу. Он был красив («один из самых изящных и красивых людей, которых мне доводилось видеть», — свидетельствовал один иностранный посол) и умел подать себя в самом выгодном свете. Свои васильковые, алые и светло-серые кафтаны с подкладкой из белого атласа и алмазными пуговицами он шил у портного-англичанина; пунцовые гарусовые чулки с серебряными узорчатыми нашивками и башмаки с серебряными пряжками выписывал из-за границы. Оправленный серебром кортик и трубка в золотой оправе дополняли костюм. По-европейски опрятный и чисто-плотный, Виллим Иванович чисто брился у француза-парикмахера, зубы чистил порошком, который постоянно носил с собой в серебряной табакерке; букли его высокого и длинного парика были тщательно уложены. Особенно неотразим он был зимой, в мороз, когда надевал пушистую соболью шапку, бархатные зеленые рукавицы и венгерскую шубу, поверх которой набрасывал алый плащ, подбитый лисьим мехом. Столь же изящным было и внутреннее убранство его дома: кресла и стулья были покрыты шелковыми китайскими покрывалами с вышитыми на них драконами, в углах комнат стояли китайские фарфоровые вазы, на стенах висели картины и трубки с персидскими янтарными мундштуками, столы и шкафы были уставлены множеством инкрустированных ларчиков...

Добившись богатства и почета, Монс сделался очень суеверен. Гадальная книга, с которой он не расставался, советовала ему, «чтоб он не вспоминал о прошедшем: там он увидит только страх и нужду; зато в настоящем ему многое благоприятствует»; замусоленные листы пророчили: «Ты будешь отменный гений, но недолго проживешь; достигнешь великих почестей и богатства; будешь настоящий волокита, и успех увенчает эти волокитства».

Пальцы Монса были унижены перстнями-талисманами. Носил он золотой перстень — перстень премудрости, о котором оракул возвещал, что, кто такой перстень носит, тот может что хочет говорить о вольных художествах всего света: все доктора его не преодолеют, как бы учены ни были; и все, что он ни говорит, то всякому приятно. Не менее важен был оловянный перстень — перстень сокровища: ежели кто такой перстень носит, тому достанутся серебро и золото. Талисман для



«побеждения всех противностей, хотя бы весь свет против восстал» — железный перстень. Не был забыт Виллимом Ивановичем и медный перстень — перстень любви: кто сей перстень имеет, тот должен употреблять его мудро, понеже можно много зла оным учинить; «кто женский пол оным прикоснет, та его полюбит и учинит то, что он желает».

Медным перстнем Виллим Иванович пользовался особенно часто. «Кто спутан узами любви, — говорил вечно влюбленный камер-юнкер, — тот не может освободиться, и кто хочет противостоять любви, тот делает оковы свои тягостнее». И еще говорил: «Кто хочет разумно любить, тот должен держать свою страсть в тайне. Любовь может принести огорчение, если откроется. К чему другим знать, что двое влюбленных целуются?» Чтобы успешно противостоять женским хитростям, Монс и в любовных делах призывал на помощь гадальную книгу. «Особа слишком хитра и коварна, — предупреждал оракул. — Хотя и любит тебя эта особа, но она хочет тебя сначала испытать, будешь ли ты постоянен».

Но и гадальная книга не всегда помогала. И тогда страстное чувство Монса изливалось изящными виршами латынского размера:

Ах, что есть свет и в свете? Ох, все противное!
Не могу жить, ни умереть. Сердце тоскливое,
Долго ты мучилось! Не упокая сердца,
Купидон, вор проклятый, вельми радуется.
Пробил стрелою сердце, лежу без памяти,
Не могу я очнуться и очи плакати.
Тоска великая; сердце кровавое
Рудою запеклося, и все пробитое.

Екатерина, как и другие дамы, заглядывалась на щеголеватого камер-юнкера: все на нем с иголочки, все со вкусом. Все чаще звала она его с собой на речное катание или на прогулку в Летний сад, все настойчивее требовала, чтобы он всегда был рядом. Вот близ романтического грота, в тени аллей, музыканты услаждают слух гуляющих; слушает и Екатерина, потом протягивает милостивую руку к Монсу и кладет несколько червонцев — то плата музыкантам. Несет Монс по ее поручению кубок венгерского то одному, то другому гостю; он же



доносит ей ежечасно, в каком расположении духа государь, куда направляется, с кем беседует... Придворные живописцы пишут Екатерину то в атласном оранжевом платье, то в парчовом великолепнейшем костюме, — роскошная черная коса на плече, на алых пухлых губах играет приятная улыбка, черные глаза под соболиными бровями блещут огнем, горят страстью, прозрачные розовые ноздри слегка приподнятого носа призывно вздуты, нежная белизна шеи, полных плеч, высокой груди отсвечивает перламутром, — а Монс должен сидеть рядом и забавлять царицу веселым разговором.

Все более необходимым человеком становился Виллим Иванович для Екатерины. И вот, году в 1721-м, она дала ему полный фавор...

Монс получил чин камергера. Теперь к нему искали доступа все: истопники, дворцовые конюхи, лакеи, посадские люди, торговые гости, иноземцы, фабриканты, помещики, чиновники, офицеры армии и гвардии, архимандриты, архиереи, губернаторы, высшие государственные чины, представители знатнейших княжеских фамилий. Царицыного камергера униженно именуют «высокородным патроном» и «премилосердным высокочеством», «единым на свете милостивцем», с ним едва «дерзают говорить», слух ему оскорбляют «просьбишкой». Бережливый Монс, аккуратнo отмечавший в своем хозяйстве и огромные суммы на огранку алмазов, и копейки за штопку чулок, не брезговал никакими подношениями: несли ему и два ушата карасей, наловленных в архиерейских прудах, и «рыжичков мелких» — голландские червонцы, и серебряные сервизы, и бриллианты, присылали лошадей и экипажи. Да и сам Виллим Иванович не упускал случая ударить челом о деревеньках и животах. Наконец он присвоил себе фамилию Монс де ла Кроа, и все тут же стали называть его «высокографским сиятельством», — все, кроме Петра, который один не знал, что женин камергер сделался такой важной персоной.

Вслед за «Уставом о престолонаследии» Петр сделал еще более ошеломляющий шаг: 15 ноября 1723 года он объявил о своем намерении короновать супругу, поскольку «наша любезнейшая государыня и императрица Екатерина великой помощницей



была... и во многих воинских действиях, отложив немочь женскую, волею с нами присутствовала, и елико возможно помогала... того ради данным нам от Бога самовластием, за такие супруги нашей труды она будет коронована».

Церемония коронации была задумана с блеском и пышностью. Прижимистый в собственных расходах, царь на этот раз распорядился денег не жалеть. Русский посланник в Париже получил указание заказать для Екатерины коронационную мантию, а лучший петербургский ювелир получил заказ на изготовление императорской короны, которая должна была превзойти все существовавшие дотоле царские венцы. Коронацию предполагалось провести в Москве, согласно с вековым обычаем, в присутствии Сената, Синода и всей знати. Загодя, за полгода, туда поехал Толстой для подготовки торжеств. Умный старик шагу не делал, не посоветовавшись с Монсом, который на деле распоряжался всем — и пошивом мантии, и подыскиванием бриллиантов для венца, и определением порядка церемонии, и выбором блюд и вин для торжественного обеда.

Ничего не жалел Петр для Катеринушки и все же никак не думал, что торжество влетит в такую копеечку. Когда сияющая Екатерина развернула перед ним коронационное платье, Петр, вспыхнув, гневным движением схватил и потряс безумно дорогую тряпку, с которой при этом слетело и упало на пол несколько золотых блесков.

— Посмотри, Катя, — с упреком сказал царь, указывая на них, — все это выметут, а ведь это почти месячное жалованье одного из моих гренадер!

Однако он тут же раскаялся в своей вспышке и попросил прощения.

Своим чередом шли и обычные увеселения. На Масленице 1724 года по улицам парадиза несколько дней прогуливались голландские матросы, индийские брамины, павианы, арлекины, французские крестьяне — то были сам государь, Екатерина и весь сумасбродный собор. Даже на похоронах в эти дни нельзя было снимать маскарадных костюмов — ослушников ждала порка. В промежутках между шутовскими процессиями шли казни проворовавшихся фискалов: троих из них казнили колесованием, девятерым дали пятьдесят ударов кнутом, чет-



верым вырвали ноздри. Но это зрелище не представляло ничего необычного. Голштинец Берргольц, приближенный Карла Фридриха, бесстрастно записав в дневник подробности казни, тут же сделал заметку о погоде.



Екатерина I. Гравюра Я. Хубракена, 1724 год

С февраля Москва стала наполняться гостями, — приехали царицы и царевны, из Митавы прибыла герцогиня курляндская Анна Иоанновна с камер-юнкером Бироном; наконец появились Петр и Екатерина со всем двором. В кремлевских палатах ежедневно толпились придворные, осматривавшие дары иностранных государей прежним московским царям и дивившиеся



осыпанной камнями короне Екатерины. День коронации все еще был неизвестен, потому что распорядители праздника продолжали с необыкновенно озабоченным видом толковать об уборах императрицы, о том, кто поведет государыню в Успенском соборе к трону и с трона, как будут расставлены пиршественные столы и рассажены гости, в каких нарядах и мундирах должны явиться дамы, кавалеры и гвардия...

Наконец 5 и 6 мая 1724 года вся эта болтовня покрылась трубными звуками: на свежешошених бревнах и камнями улицах Москвы герольды объявляли о неслыханном — венчании короной Российской империи женщины! Москвичи неодобрительно качали головами, перешептывались. Никогда благоверные цари московские не короновали своих жен. Один только Гришка Отрепьев осмелился возложить Мономахов венец на свою Маринку... И чем оба кончили?

На рассвете 7 мая с кремлевской стены грянула сигнальная пушка, и по Красной площади в Кремль церемониальным маршем вступили гвардейские полки и эскадрон кавалергардов. На красавцев кирасир угрюмо взирали московские купцы, у которых Толстой для парада реквизирует лучших коней. Построившись вокруг кремлевского дворца, гвардейцы вскинули мушкеты и палаши «на караул». В десять часов зазвучали трубы и барабаны, в церквях и монастырях зазвонили колокола, все городские орудия произвели залпы — на Красном крыльце появились Петр и Екатерина. С того самого места, с которого сорок два года назад он со страхом смотрел на беснующихся стрельцов и на лес колышущихся и сверкающих бердышей, Петр спокойно и уверенно обозрел ряды зеленых мундиров с алыми и синими отворотами и частокол бело-красных плюмажей с развевающимися над ним разноцветными полотнищами полковых знамен. Как все это отличается от старой, московской Руси! К ней же, заспанной, неопрятной уродине, нет возврата... На царе были шитый серебром кафтан небесно-голубого цвета, шляпа с белым пером и красные шелковые чулки; на Екатерине — пурпурное, шитое золотом платье, шлейф которого несли пять фрейлин.

По дорожке из алого сукна императорская чета прошествовала в Успенский собор. Впереди шли два герольдмейстера империи в костюмах из красного бархата, с вышитыми



на груди золотыми двуглавыми орлами. За ними высшие государственные чины несли державу, скипетр и корону. Затем шел царь, за которым следовала Екатерина в сопровождении Апраксина и Головкина, и остальные придворные.



*Петр I.
Восковой раскрашенный
бюст работы К. Растрелли*

Успенский собор был залит солнечным светом и блеском золоченых свечей, горящих в огромных серебряных паникадилах. В центре храма возвышался помост с двумя инкрустированными драгоценными камнями тронами, под бархатными, расшитыми золотом балдахинами. У дверей императора и императрицу встречали Стефан Яворский, Феофан Прокопович и архиереи в праздничном облачении. Митрополит Стефан дал Петру и Екатерине приложиться к кресту и повел к тронам. Началось богослужение. Царственные супруги сидели молча рядом. Затем Петр встал, и Стефан Яворский поднес ему новенькую императорскую корону.



— Мы коронуем нашу возлюбленную супругу! — громко провозгласил Петр и, приняв корону из рук митрополита Стефана, возложил ее на голову жены.

В бриллиантовых переливах 2 564 драгоценных камней, которыми был унизан венец, сверкнул и яхонт размером с голубиное яйцо, ограненный и подаренный Екатерине Монсом. Екатерина не сдержалась — слезы потекли по ее щекам. Преклонив колени, она попыталась поцеловать у мужа руку, но царь не дал. Тогда она бросилась к его ногам и была поднята Петром — уже владычицей России.

После благодарственного молебна Феофан Прокопович громко и прочувствованно изрек цветистое слово о добродетелях Екатерины:

— Ты, о Россия! Не засвидетельствуеши ли о Богом венчанной императрице твоей, что прочим разделенные дары — добродетели Семирамиды Вавилонской, Тамиры Скифской, Пенфесилеи Амазонской, Елены Троянской, Пульхерии Греческой и других знатных жен — все разделенные дары Екатерина в себе имеет совокупленные? О необычная! Великая героиня, о честной сосуд! И яко отец Отечества благоутробную сию мать Российскую венчает, так ныне всю Россию венчал еси! Твое, о Россия, сие благолепие, твоя красота, твой верх позлащенный солнца яснее просиял...

В толпе придворных было заметно улыбающееся лицо Монса, гораздо более других оживленного и согретога этими животворящими лучами.

Затем Петр пошел отдохнуть, а Екатерина направилась в Архангельский собор, чтобы помолиться в усыпальнице московских царей. Императрицу окружали шестьдесят восемь кавалергардов в зеленых кафтанах; на их парики были надвинуты черные шляпы с белыми бантами. Шедший следом Меншиков пригоршнями бросал в толпу золотые и серебряные монеты. На обратном пути произошла заминка. При восходе на Красное крыльцо Екатерина несколько раз останавливалась, задыхаясь под тяжестью императорской мантии, украшенной сотнями золотых двуглавых орлов.

Торжественный пир состоялся в Грановитой палате, убранной бархатом и персидскими коврами. Петр и Екатерина сидели под балдахином из красного бархата. Меншиков, проходя между рядами гостей, раздавал памятные медали с изо-



бражением парного портрета императорской четы на одной стороне и Петра, венчающего Екатерину, — на другой.

В то же время для народа рядом с Красным крыльцом жарили быков, набитых домашней птицей и дичью, поблизости били два фонтана с белым и красным вином. А на Царицыном лугу в Замоскворечье горели белыми огнями девиз Екатерины «Господи, спаси царя!» и «эмблемы нежности», придуманные самим Петром: вензели «П» и «Е», сердце с короной и купидон, зажигающий факелом фейерверк.

Пир по случаю коронации продолжался не один день. Екатерина веселилась и танцевала, не зная, что порхает над пропастью.

Канцелярией Монса заведовал Егор Михайлович Столетов. Этот бывший служитель царицы Марфы Матвеевны, вдовы царя Федора Алексеевича, малый весьма и весьма неглупый, пронырливый, вороватый, бойкий на язык и на письмо, сумел втереться в доверие к Монсу. И стоило то теплое место недорого: Столетов заплатил за него Виллиму Ивановичу пищалью в шесть червонцев, бочонком венгерского, английскими шелковыми чулками, куском красного сукна и лисьим мехом в двадцать рублей.

Все эти издержки Столетов поспешил окупить сторицей, так как Монс поручил ему разбирать лавину челобитных, ежедневно обрушивавшуюся на царицыну канцелярию. Сделавшись правой рукою Виллима Ивановича, Столетов зазнался, стал хвастлив, болтлив и тщеславен. Расхаживая по разным приемным и канцеляриям по делам своих просителей и приятелей, он чуть что употреблял имя Монса в качестве понудительного средства. «Брось ты Егора, он твоим именем много шалит, чего ты и не знаешь», — убеждали Монса друзья, но Виллим Иванович только отмахивался. Ерунда, виселиц-то много. Прогнать Столетова он уже не мог — слишком много общих делишек обделали они вместе.

Своим человеком в доме Виллима Ивановича стал и царский шут Иван Балакирев, служивший рассыльным между Монсом и Екатериной. Балакирев также не отличался умением держать язык за зубами. Он и Столетов много наболтали случайным людям про лихоимство и тайные сердечные дела своего покровителя.



Донос на Монса лег на стол канцелярии Тайного Преображенского приказа 26 мая. Однако чья-то рука спрятала его под сукно — до времени. Государь еще не напраздновался.

Действительно, Петр после коронации наслаждался полнейшим счастьем. Каждый день маленький домик царя в Преображенском наполнялся именитыми гостями. Ради коронованной хозяйшки Петр щеголял в новых кафтанах и от полноты сердечных чувств поил всех и каждого до упаду из собственных рук. Дни пролетали в пирушках, ассамблеях, маскарадах, наездах на дома вельмож с беспокойной братией, устройствах фейерверков и шутовских процессий. С особым усердием Петр спаивал Карла Фридриха: царю почему-то непременно хотелось отучить герцога от мозельвейна и приохотить к венгерскому. Вообще положение голштинского герцога этим летом значительно улучшилось. Между Россией и Швецией был подписан оборонительный союз. По этому договору Карл Фридрих получил титул королевского высочества, шведское правительство обязалось платить ему пенсией и вместе с Россией оказывать давление на Данию, чтобы заставить Фредерика вернуть ему захваченные голштинские земли. Кроме того, Господь, наконец, надоумил его обратиться за помощью к Монсу — и дело со свадьбой тронулось с мертвой точки! До сих пор, правда, неясно было, кто же будет невестой — Анна или Елизавета. Но Карлу Фридриху было все равно, он был готов вспылать страстью к любой, а пока одинаково нежно целовал обеим великим княжнам ручки и отвешивал глубочайшие поклоны.

С пирушки ехали смотреть немецкие комедии, однако это развлечение наводило на компанию тоску. Хотя по царскому указу пьесы должны были состоять не более чем из трех действий, спектакли тянулись вяло, ибо Петр требовал, чтобы в сюжете не было любовной интриги, наводившей на него скуку. Но без нее было еще скучнее, и Петр зевал больше всех, отгоняя дремоту различными проделками и шутками над другими зрителями.

Гораздо веселее была комедия, сочиненная самим Петром по случаю смерти придворного карлика. Во главе похоронной процессии шли попарно тридцать певчих — все маленькие мальчики; за ними шесть пони в черных пополах везли гроб с телом карлика, покрытый красным бархатом; рядом шел низенький



поп, а следом тянулось множество толстых, безобразных, большеголовых карлов и карлиц в траурных костюмах. Для пущего эффекта их окружали рослые гренадеры и гайдуки с факелами. Стоящие в толпе зевак заезжие немцы вытягивали шеи: такую процессию вряд ли увидишь где-нибудь еще, кроме России!



Петр I. Восковой раскрашенный бюст работы К. Растрелли

От этой веселой жизни с Екатериной случилось нечто вроде удара. Врачи пустили ей кровь, больной полегчало, но из-за слабости она не смогла сопровождать Петра в его поездке на олонекские минеральные воды. В середине июня царь один отправился в парадиз. С дороги сообщил о себе: «Катеринушка, друг мой сердешненький, здравствуй! Я вчера прибыл в Боровичи, слава Богу... где нашел наших потрошонков и с ними вчера поплыл на одном судне... Дай Боже вас в радости и скоро видеть в Питербурхе». Несколько слов приписали на грамотке и «потрошонки» — Анна и Елизавета.

Въехав в парадиз, Петр не замедлил поделиться своими чувствами с Катеринушкой: «Нашел все, как дитя, в красоте



растущее, и в огороде (то есть в Летнем саду. — С. Ц.) повеселились; только в палаты как войдешь, так бежать хочется: все пусто без тебя...»

От Екатерины пришел ответ, что она выздоровела и скоро выезжает. Обрадованный, Петр выслал ей навстречу целую флотилию и обычные свои презенты: венгерское пиво, померанцы, цитроны и соленые огурцы.

8 июля Екатерина была встречена в Петербурге с большим торжеством. Вновь бесконечной чередой потянулись пирушки: в это лето один за другим спускали на воду новые корабли — фрегаты, мелкие морские и речные суда. Петр был весел, Екатерина тоже, вино лилось рекой, петровские «птенцы», опьянев, клевали друг друга, обменивались оплеухами. 30 августа в воскресенье отпраздновали обретение мощей святого Александра Невского. Петр устроил церемонию встречи на воде: многочисленная флотилия встретила гроб с останками благоверного князя пушечными выстрелами. Затем последовал пир — отшельники Александре-Невской лавры явились радушными хозяевами. В монастырской трапезной гостям подавали мясо, поднимались тосты, в стенах мирной обители гремели пушки... Побывали в это лето на всех свадьбах петербургских чиновников и всякий раз бывали «очень веселы». Если Петру случалось очень уж запировать, Екатерина спешила к нему с напоминанием: «Пора домой, батюшка!» — и царь покорно вставал и шел за ней. Она всегда была при нем, а при ней всегда был Виллим Иванович Монс. Власть камергера теперь упиралась в самые небеса: он мог назначить вице-президента в Сенат, митрополита на епархию и даже вершить дело о прокладке русско-шведской границы. «Особливому отцу в нужде» с просьбой «не отринуть ихнего слезного прошения от своего высочества» падали в ноги целые депутации, и Монс не брезговал ничем — брал, брал, брал, как будто предвидел скорый расчет... Семь бед — один ответ!

8 ноября, в воскресенье, всплыл давешний донос. Кто дал ход делу, неизвестно; называли имя недреманного государева ока генерал-прокурора Ягужинского, будто бы раздраженного притязаниями зарвавшегося камергера. Получив извет, Петр не подал признаков гнева, отужинал с Екатериной и дочерьми в присутствии Монса, с которым имел ничем не примечательную беседу. Однако долго притворяться у него



не хватило сил. В девять часов он заявил, что устал и хочет спать. Екатерина возразила, что еще рано.

Тогда Петр подошел к настенным часам и перевел стрелки на час вперед.

— Ну, время разойтись, — сказал он и вышел, не взглянув на жену и ее любовника.

Монс, ни о чем не подозревая, возвратился домой. Но только он выкурил трубку, как явился сам начальник тайной канцелярии генерал Ушаков и объявил о его аресте по обвинению во взяточничестве. Все бумаги Монса изъяли, кабинет опечатали, а самого его заковали в цепи и увезли.

Понедельник 9 ноября был проведен петербургской знатью весьма смутно. Во всем городе вряд ли имелся вельможа, который не справил бы с помощью опального камергера какого-нибудь дельца. Опасались широкого розыска. Один голштинский герцог был несказанно доволен — в этот день было объявлено о его обручении с Анной.

Вельможи трусили напрасно: Петр был уже не тот. Такое неожиданное окончание семейной идиллии потрясло царя до глубины души. На все остальные вины Монса Петр взглянул как-то слегка, только как на предлог к обвинению. Детально расследовать все сделки и взятки — значит и дальше растравлять себе сердце присутствием ненавистного соперника. Нет, надо просто стереть его с лица земли, и чем скорее, тем лучше.

Утром 9 ноября в кабинет царя внесли ворохи бумаг Монса, затем по приказу Петра ввели его самого. Во взгляде царя было столько гнева, жажды мести и глубочайшего презрения, что Монс затрясся и упал в обморок. Петр велел привести его в чувство. Врачи пустили Виллиму Ивановичу кровь, он пришел в себя. Допрос кончился быстро. Монс признал правоту всех обвинений в злоупотреблениях; признаний об отношениях с императрицей никто не требовал.

Когда Монса увели, Петр с жадностью набросился на его архив. Деловые бумаги, не читая, отбрасывал прочь, любовные письма складывал в стопку. Стопка получилась большая. «Сердечный купидон», «ласточка дорогая», «сокровище и ангел»... Царь чуть не взвыл от терзавшей сердце муки.

Оставаться наедине с собой больше не было сил. Петр прошел из кабинета в другую комнату, где находились Анна и Елизавета. Лицо царя было мертвенно-бледно, глаза сверкали



и блуждали, все тело сотрясалося в конвульсиях. Не произнося ни слова, он долго ходил по комнате из конца в конец и бросал на дочерей страшные взгляды. Сестры, дрожа, выскользнули за дверь, но Петр не заметил этого. Он множество раз вынимал и кидал свой кортик — вбивал его в двери, шкафы и стол различными приемами с такими страшными гримасами и судорогами, что служанка великих княжон, француженка, в ужасе забила под стол. А Петр продолжал бесноваться, увеча кортиком дорогую мебель. Катя, Монс, Катя, ласточка дорогая, сердечный купидон, Монс, Монс, Монс... Он уничтожит обоих!.. И однако при одной мысли о Катеринушке кипевшая в нем ярость мучительно обжигала сердце, руки бессильно опускались... Петр задыхался, стучал ногами, бил кулаками в стены, крушил и бросал на пол все, что ни попадалось под руку. Под конец, уходя, грохнул дверью с такой силой, что она дала трещину.

Екатерина заперлась в своих апартаментах. Указом Петра всем подданным было запрещено принимать к исполнению приказы и распоряжения Екатерины; она также потеряла право распоряжаться денежными средствами, отпускаемыми на содержание ее двора. 15 ноября, в день, когда суд вынес Монсу смертный приговор, она осмелилась просить мужа о помиловании. Петр сквозь зубы процедил, чтобы она не смела вмешиваться в это дело и, не удержавшись, трахнул кулаком по дорогому венецианскому зеркалу, которое разлетелось вдребезги. Монс не получил ни дня отсрочки.

16 ноября Монса в санях привезли к месту казни. Виллим Иванович держался с твердостью, кивал и кланялся друзьям, толпившимся у эшафота. Поднявшись на эшафот, он спокойно снял меховую шапку, выслушал смертный приговор и положил свою красивую голову на плаху.

В эти минуты в Зимнем дворце звучала музыка. Под руководством учителя танцев, приглашенного якобы для того, чтобы попрактиковать великих княжон в менуэте, Екатерина проделывала торжественные и скорбные па, воздавая последние почести обреченному любовнику. Вечером, когда Петр специально повез ее посмотреть на Монсову голову, насаженную на кол, Екатерина не изменилась в лице. Равнодушно глянула, отвернулась. Но в голове у нее звучали стихи Виллима Ивано-



вича, написанные им ночью, накануне казни, и переданные ей верным человеком:

Und also lieb ich mein Verderben,
Und heg' ein Feuer in meiner Brust,
Daran zuletzt ich doch muss sterben.
Mein Unterrang ist mir bewusst.
Das macht ich lieben wollen,
Was ich gelte verehren sollt;
Dennoch geschiehts mit grosser lust⁵⁸.

Дела валились у Петра из рук. Он еще пытался работать, подумывал о строительстве нового здания для Академии наук, об основании университета, но чаще, не проявляя интереса ни к чему, сидел в своей комнате и горестно вздыхал. А за дверями, не смея потревожить царя, вздыхали его министры, от которых чиновники тщетно добивались хоть каких-нибудь распоряжений.

С Екатериной Петр не разговаривал и вообще старался избегать совместных обедов и появлений на людях. Но, несмотря на эти грозные знаки немилости, он чувствовал себя брошенным, несчастным, никому не нужным стариком. И как всякий обманутый старик, он не мог противиться настоятельной потребности простить молодую обманщицу. Царь первым подал знак к примирению, назначив свадьбу Карла Фридриха и Анны на Екатеринин день — 7 декабря. Торжество прошло пышно и церемонно. Накануне вечером герцог приказал исполнить под окнами Зимнего дворца серенаду в честь императрицы. На следующий день после богослужения в Троицком соборе и обеда с императорской фамилией Карл Фридрих был повенчан с Анной. Петр сам надел им кольца и крикнул «Виват!», после чего все отправились на праздничный пир, за которым последовал бал и фейерверк. На балу Петр почувствовал себя

⁵⁸ Итак, любовь — моя погибель.

Я питаю в сердце страсть,

И она привела меня к смерти.

Моя гибель мне известна.

Я полюбил ту,

Которую должен был только чтить,

Но я пылаю к ней страстью.

(Подстрочный перевод с немецкого)



нехорошо и танцевать отказался, но Екатерина прошлась с женихом в полонезе. Относительно будущности молодой четы предполагалось, что до тех пор, пока Дания не вернет Карлу Фридриху его владений, он будет занимать должность рижского губернатора. Вскоре после свадьбы молодые уехали в Лифляндию⁵⁹.

В середине января 1725 года состоялось примирение. Екатерина пала на колени и просила у мужа прощения. Их разговор продолжался три часа, после чего повеселевший Петр пригласил Екатерину отужинать вместе. Катериночка заняла прежнее место и за столом, и в сердце государя.

Между тем здоровье Петра, изъеденное многолетним пьянством, ветшало на глазах. Лихорадки, простуды, приступы мочекаменной болезни терзали его беспрестанно. Доктора сажали его на лекарства, запирали одного в теплой комнате под запретом выходить на воздух. Но Петр плохо слушался их. Что полезного могли посоветовать эти люди, предписывавшие полный покой ему, человеку, на котором один день вынужденного безделья сказывался разрушительнее целого года напряженнейшего труда? Петру было трудно выносить докторский арест, его так и тянуло обойти свое хозяйство, полазить по верфи, испробовать ход того или иного судна либо махнуть на чью-нибудь свадьбу, отвести душу на ассамблее. Как только он чувствовал себя немного лучше, тотчас забывал все запреты, и тогда с крепостных валов Петропавловской крепости раздавались пушечные выстрелы — сигнал того, что государю полегчало и он разрешил себе покататься по замерзшей Неве под парусом или съездить на маскарад. Затем болезнь вновь укладывала его в постель.

По Петербургу ходили тревожные слухи. Во дворцах, лачугах и казематах предвещали царю близкую кончину. В доме князя Меншикова слуга в людской поднимал чарку — да здравствует государь император Петр Алексеевич! А другие его перебивали: здравствовал бы светлейший князь, а государю недолго жить!

⁵⁹ От брака Карла Фридриха и Анны Петровны родился Карл Петр Ульрих, который позже стал российским императором под именем Петра III.



В казематах Петропавловской крепости колодники кричали солдатам:

— Государю нынешнего года не пережить. А как он умрет, станет царем светлейший князь!

Солдатики в казармах шептались: «Смотрите, государя у нас скоро изведут, а после и царицу всеконечно изведут же.

Великий князь Петр Алексеевич мал, стоять некому».

— Будет у нас великое смятение, — пророчествовали вещуньи. — Нужно государю толщину убавить, сиречь бояр, а то много при нем толщины.

А кто изведет его? Свои! Посмотрите, скоро сбудется!

И как было не верить страшным предсказаниям, если на Петербургской стороне объявилась нечистая сила! То не сказка, толковала чернь и дьячки, часовые сами слышали стук и беготню этого духа: то кто-то бегал в монастыре по трапезной, то что-то стремглав падало, а когда наутро оглядели колокольню, увидали, что стремянка, по которой лазили к верхним колоколам, оторвана и отброшена, колокольные же канаты спутаны узлом.

— Некто другой, как кикимора! — говорил поп дьякону.

— Не кикимора, — возражал тот, — а возится в трапезной черт.

Вечерами в аустериях и кабаках сами собой потухали огни, и часы на соборной колокольне не в срок глухо били полночь...

— Питербурху быть пусту! — разносила молва вещие слова...

А Петр к Рождеству почувствовал себя настолько бодрым, что возглавил компанию славильщиков. Несколько дней спустя он в последний раз собрал всешутейший собор для выборов нового князя-папы, взамен умершего Бутурлина. Петр лично запер шутовской конклав кардиналов в комнате, где происходили выборы, и, чтобы облегчить им работу мысли, велел выпивать через каждые четверть часа по ковшу водки. Под утро смертельно пьяные кардиналы пробормотали имя нового князя-папы — никому не известного чиновника.

На Крещение царь отправился на водосвятие и, возвратившись во дворец, слег окончательно. Последние дни он не знал ни минуты покоя: его тело сотрясилось в конвульсиях, приступы мучительной боли исторгали у него вопли, слышимые далеко за дверями царской спальни. Когда боль ненадолго отступала, царь жарко каялся в своих прегрешениях; два раза



он причащался из рук Феофана Прокоповича и получал отпущение грехов. Екатерина не отходила от постели умирающего ни днем, ни ночью. Улучив минуту, она попросила мужа ради обретения душевного покоя простить Меншикова, пребывавшего в немилости. Последнее прощение Данилычу было даровано. Вместе с ним были прощены все осужденные на смертную казнь и все дворяне, не явившиеся на последний смотр.

28 января крики сменились глухими стенаниями. Петр впал в забытие. В начале шестого часа утра Екатерина, перекрестившись, вполголоса начала читать молитву «Господи, прими душу праведную», — Петр отошел, не приходя в сознание⁶⁰.

Петербург опустел.

Гроб с телом царя был выставлен для прощания в Петропавловском соборе. В один из дней во время всенощной в храм вошел Ягужинский, взволнованный, расстроенный; указывая на гроб, стал говорить, как будто Петр мог его слышать, что князь Меншиков учинил ему сегодня обиду, хотел снять шпагу и посадить под арест, чего он, недреманное око царево, над собой отроду никогда не видал... Тело умершего императора еще не успело остыть, а господа принцепалы и сенаторы уже вцепились друг другу в глотки.

А россияне, оставшись сиротами, ликовали тайно и явно.

⁶⁰ Со смертью Петра связаны две легенды. Первая из них пытается отыскать причину его кончины. Согласно ей осенью 1724 г. Петр простудился в ледяной воде, спасая севший на мель бот с солдатами, матросами, женщинами и детьми. Однако «Походный журнал» царя не содержит даже намек на подобное происшествие и, напротив, повествует о неоднократных выездах Петра из дома зимой 1724–1725 гг., что, конечно, было бы невозможно, будь царь смертельно болен.

Вторая легенда связана с последней недописанной фразой царя: «Отдайте все...» Она получила широкое распространение после выхода в свет «Истории Российской империи при Петре Великом» Вольтера, который воспользовался записками Г. Ф. Бассевича. Между тем, кроме последнего, всего лишь еще один человек — саксонский резидент Н. С. Лефорт — свидетельствует о том, что Петр перед смертью что-то писал: «Ночью ему захотелось что-нибудь написать, он взял перо, написал несколько слов, но их нельзя было разобрать». Единственный из современников Петра, кто сумел разобрать в этих каракулях два таинственных слова и придать им столь важное значение, оказался Бассевич, не присутствовавший при кончине царя и писавший свои записки 36 лет спустя!



*Петр I на смертном одре.
Художник И. Г. Таннауэр,
1725 год*

— Здравствуйте! Государь ваш умер! — радостно возвещал прихожанам поп Златоустовской церкви в Астрахани.

— Государь этот, — объясняли молодым парням старцы раскольники, — приказал бороды брить, немецкое платье носить, и его послушникам быть там же, где он сам обретается, сиречь во аде.

Один монах в келье Московского Богоявленского монастыря в день смерти Петра записал: «Злочестивый, уподобившийся самому антихристу, восхитивший Божескую и святительскую власть, соблазнитель и губитель душ христианских, прегордостным безумием нареченный держателем всероссийского царства, попущением Божиим Петр, бывший великий, ныне всескверный император, со своими бывшими единомудрствующими да будет проклят! И да будет тако, да будет тако, да будет тако!»

По рукам ходила развеселая картинка, которой русский народ почтил государя царя Петра Алексеевича, шутейшего дьякона всепьянейшего собора, — о том, как мыши кота



хоронили. Любил государь в шутовских шествиях ходить — так вот ему поминаньице! У кого самого разума нет, тому под картинкой объяснение: везут погребальные дроги восемь мышей, а за ними с музыкой идут мыши корелки, охтенки, чухонки и ижорки с ладожским сигом в руках, да церковные мыши, которым солоно пришлось, да мыши лазаретские, которыми переполнили Русскую землю котовы баталии и виктории, идут мыши от больших домов и питейных погребов с чарками, братинами, корчагами и ушатами, а следом две крылатые мыши ведут под руки кошачью вдову, чухонку-адмиральшу, которая ходит по-немецки, говорит по-шведски. Идут мыши, вспоминают покойника: жил престарелый кот славно, ел,пил, лапти носил, сладко ел, слабо срал, да вдруг заболел и в серый месяц, в шестопятое число, в жидовский шабаш — умер. А перед смертью говорил: эх, еще бы мне жить, да мир меня проклял.



*Гипсовый слепок
с головы Петра I*

Шли годы. Недостроенная храмина Петра — новая Россия — худо-бедно обустривалась: кто-то разбирал ее кладку на собственный домишко, а кто-то — и таких было большинство — клал



камень за камнем в ее стены. Порой в ее просторных комнатах гулял студеный ветер, порой в них полыхал пожар, но поколения людей, выросшие здесь, упорно латали щели и восстанавливали разрушенное, как умели, уже давно позабыв о первоначальном чертеже. Народная злоба на первостроителя, дубинкой заставлявшего класть камни в основание величественного нового здания, мало-помалу улеглась; зоркий русский глаз сумел разглядеть искру народного блага, сверкнувшую из-под пепла дотла спаленной Петром старой Руси. И теперь вместо сказаний о царе-антихристе русский народ складывал легенды о царе-работнике, который свой хлеб даром не ел, работая получше бурлака, и о его дивном граде, задуманном и построенном на небесах и затем спущенном ангелами на землю. Все злое, глупое, жестокое, что было в Петре и его деяниях, в конце концов исчезло, не оставив следа, как и полагается исчезать всему низкому, подлому и несправедливому в этом мире; осталось только высокое, доброе и прекрасное, ясно видимое сквозь годы и века, — жажда творчества, непрестанный труд во имя общего блага, пытливый дух исследования, шпиль Петропавловского собора, Академия наук, российский флаг, реющий во всех морях, школы, заводы, больницы, памятный тост за учителей и «о Петре ведайте, что ему жизнь недорога, только бы жила Россия в блаженстве и славе».

Наверное, в этом и есть единственное оправдание и прощение, доступное человеку здесь, на земле.